

БОЛЬШИЕ *и* КНИГИ

Джеймс
Джойс



ДУБЛИНЦЫ

« И Н О С Т Р А Н К А »

Джеймс Джойс

Дублинцы (сборник)

«Азбука-Аттикус»

2014

Джойс Д.

Дублинцы (сборник) / Д. Джойс — «Азбука-Аттикус», 2014

Джеймс Джойс – великий ирландский писатель, классик и одновременно разрушитель классики с ее канонами, человек, которому более, чем кому-либо, обязаны своим рождением новые литературные школы и направления XX века. В историю мировой литературы он вошел как автор романа «Улисс», ставшего одной из величайших книг за всю историю литературы. В настоящем томе представлена вся проза писателя, предшествующая этому великому роману, в лучших на сегодняшний день переводах: сборник рассказов «Дублинцы», роман «Портрет художника в юности», а также так называемая «виртуальная» проза Джойса, ранние пробы пера будущего гения, не опубликованные при жизни произведения, таящие в себе семена грядущих шедевров. Книга станет прекрасным подарком для всех ценителей творчества Джеймса Джойса.

© Джойс Д., 2014

© Азбука-Аттикус, 2014

Содержание

Эпифании	7
1 (1)	7
2	8
3	9
4 (5)	10
5	11
6	12
7	13
8	14
9 (12)	15
10 (13)	16
11 (14)	17
12 (16)	18
13 (19)	19
14 (21)	20
15 (22)	21
16 (26)	22
17 (28)	23
18 (30)	24
19 (42)	25
20	26
21 (44)	27
22 (45)	28
23	29
24	30
25	31
26	32
27	33
28	34
29	35
30	36
31	37
32 (52)	38
33	39
34 (56)	40
35 (57)	41
36 (59)	42
37 (65)	43
38 (70)	44
39 (71)	45
40	46
Портрет художника	47
Герой Стивен	51
XIV	51
Отъезд в Париж[5]	51
XV	60

XVI	65
XVII	73
XVIII	84
XIX	100
XX	113
XXI	125
XXII	136
XXIII	145
Конец ознакомительного фрагмента.	151

Джеймс Джойс

Дублинцы (сборник)

© С. Хоружий, перевод, статья, комментарии, 2011

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство Иностранка®

Эпифании

1 (1)

[Брэй: в гостиной дома на Мартелло-Террас]

МИСТЕР ВЭНС (*входит с тростью*):...Он, знаете ли, должен извиниться, миссис Джойс.

МИССИС ДЖОЙС: Должен, вы правы... Джим, ты слышишь?

МИСТЕР ВЭНС: А то прилетят коршуны, ему глаза расклюют.

МИССИС ДЖОЙС: Нет-нет, он конечно извинится, иначе ведь его в рай не возьмут....

ДЖОЙС (*к самому себе, под столом*):

Глаза расклюют,
В рай не возьмут,
В рай не возьмут,
Глаза расклюют.

В рай не возьмут,
Глаза расклюют,
Глаза расклюют,
В рай не возьмут.

2

Завтра занятий нет: субботний вечер, зима, я сижу у камина. Они скоро уже вернутся со всякой едой, мясо, овощи, чай и масло и хлеб, и белый пудинг, который ворчит в кастрюле... Сижу и читаю про Эльзас, переворачиваю желтые страницы, рассматриваю мужчин и женщин в странных нарядах. Мне нравится читать про их обычаи; кажется как будто я через них прикасаюсь к жизни страны как будто у меня общение с немецким народом. Драгоценнейшая иллюзия, друг моей юности!..... В него я вкладывал образ меня самого. Наши жизни остаются священны в их сокровенных симпатиях. Я с ним по ночам когда он читает книги философов или какую-нибудь повесть о старине. Я с ним когда он бродит один или с кем-то кого он никогда не видел, с той девушкой, что обвивает его своими руками не знающими ничего дурного дарует свою простую и щедрую любовь, слыша душу его и ей отвечая он не ведает как.

3

Праздник окончен, последние расходящиеся по домам дети одеваются. Рейс последний. Гнедые облезлые лошадки знают это и потряхивают бубенчиками, в ясную ночь посылая вразумление о том. Кондуктор разговаривает с вожатым, и оба то и дело кивают головами в зеленом свете фонаря. Вокруг никого. Мы как будто прислушиваемся, я на верхней ступеньке, она на нижней. Пока мы разговариваем, она много раз поднимается на мою ступеньку и снова спускается на свою, а раз или два остается рядом со мной, забыв сойти вниз и сходит лишь погода... Пусть так, пусть так... Теперь она уж не задается передо мной своим платьем, нарядным пояском, длинными черными чулками, потому что теперь мы как будто знаем (мудрость детей) что такой конец нам больше понравится чем любой ради которого мы трудились.

4 (5)

[Дублин: на Маунтджой-сквер]

ДЖОЙС (*подводит итог*)... Значит это будет сорок тысяч фунтов.

ТЕТЯ ЛИЛИ (*со смехом*): Сусе!... Я вот тоже была такая... Когда я была девочка я просто уверена была что выйду замуж за лорда... или в таком роде...

ДЖОЙС (*в размышлении*): Это она никак сравнивает себя со мной?

5

На верхнем этаже старого темнооконного дома: в узкой комнате отблески огня из камина: за окном сумерки. Старушка возится, готовит чай; говорит про изменения, про всякие странности у нее, и что священник сказал и что врач... Я слышу ее слова издали. Я брожу среди углей очага, по тропам приключений... Господи! А что это в тамбуре?... Череп – обезьяна; существо привлеченное к огню, к голосам: бессмысленное существо.

– Это Мэри-Элин?

– Нет, Элиза, это Джим...

– А... Добрый вечер, Джим...

– Тебе чего-то надо, Элиза?..

– Я думала, это Мэри-Элин... Я думала ты это Мэри-Элин, Джим...

6

Небольшое поле заросшее сорняками и чертополохом населено смутными фигурами, полулюди, полукозлы. Волоча длинные хвосты они передвигаются туда и сюда, угрожающе. Лица у них с жидкими бороденками, заостренные, каучуково-серые. Тайный личный грех направляет их, собрав их сейчас, как бы в ответ, к постоянному злорадству. Один кутается в рваный фланелевый жилет, другой скулит без конца когда его бороденка застревает в колючках. Они движутся вокруг меня, окружают меня, тот старый грех делает их глаза острыми и жестокими, со свистящим звуком они медленно кружат по полю, ужасающие морды задраны кверху. Спасите!

7

Пора уходить – завтрак уже готов. Но прочитаю еще молитву... Есть хочется, но хочется и оставаться здесь в этой тихой часовне где месса началась и окончилась так тихо... Радуйся, Пресвятая Царица и Всемиловитая Мать, жизнь наша, наше тепло и надежда! Уповаю что завтра и потом всякий день я буду приносить в дар тебе благие дела ибо знаю что порадует тебя если буду делать так. А сейчас прощай... О, прекрасный свет солнца на улице и – О, свет солнца в сердце моем!

8

Небо покрыли серые облака. На развилке трех дорог у заболоченной полосы берега валяется большая собака. Время от времени она задирает морду и издает долгий печальный вой. Люди останавливаются на нее взглянуть и идут дальше, некоторые задерживаются привлеченные, быть может, этим плачем, в котором они слышат как будто эхо собственной своей скорби имевшей некогда голос но теперь безгласной, прислуживающей трудовым будням.

9 (12)

[Маллинггар: июльское воскресенье, полдень]

ТОБИН (*звучно ступая в тяжелых бабмаках и стуча по мостовой посохом*): ... Чтоб парню остепениться, вернее женитьбы не придумаешь. Я пока сюда не попал в «Икземинер», я и с дружками погуливал и попивал... А теперь у меня дом хороший и... вечером уже ты идешь в свой дом... ну а захочешь выпить – что же, можешь и выпить... Совет мой каждому молодому парню, кто это может себе устроить, – женись молодым.

10 (13)

[Дублин: в «Оленьей голове» на Дэйм-лейн]

О'МЭХОНИ: А у вас есть там такой маленький священник что занимается поэзией, отец Рассел?

ДЖОЙС: Есть, есть... Я слышал, он писал стишки.

О'МЭХОНИ (с понимающей улыбкой): Вот-вот, стишки... Это самое для них правильное слово...

11 (14)

[Дублин: в доме Шихи на Бельведер-плейс]

ДЖОЙС: Я знал, что вы имеете в виду его. Только вы с возрастом ошиблись.

МЭГГИ ШИХИ (*наклоняется вперед, чтобы говорить со всей серьезностью*): Ну а сколько же ему?

ДЖОЙС: Семьдесят два.

МЭГГИ ШИХИ: Правда?

12 (16)

[Дублин: в доме Шихи на Бельведер-плейс]

О'РЕЙЛИ (*становясь серьезным*): Так, кажется, моя очередь... (*со всей серьезностью*)...
Кто ваш любимый поэт?

(пауза)

ХАННА ШИХИ: ...Немецкий?

О'РЕЙЛИ: ...Да.

(молчание)

ХАННА ШИХИ: Я думаю... Гёте...

13 (19)

[Дублин: в доме Шихи на Бельведер-плейс]

ФОЛЛОН (*проходя мимо*): Мне сказали, чтобы я особо поздравил вас по случаю вашего выступления.

ДЖОЙС: Благодарю вас.

БЛЕЙК (*после паузы*): Я никому бы и никогда не посоветовал этого... Нет, это ужасная жизнь!..

ДЖОЙС: Ага.

БЛЕЙК (*между двумя затяжками*): Конечно... тут все отлично на вид... для тех, кто не знает... Но если б вы знали... это просто ужасно. Огарок свечи, никакого... ужина, убогая... бедность. Вы просто не представляете себе...

14 (21)

[Дублин: в доме Шихи на Бельведер-плейс]

ДИК ШИХИ: Это как это ложь? Господин спикер, я должен попросить...

МИСТЕР ШИХИ: К порядку, к порядку!

ФОЛЛОН: Вы знаете, что это ложь!

МИСТЕР ШИХИ: Вам следует взять эти слова обратно, сэр.

ДИК ШИХИ: Как я уже говорил...

ФОЛЛОН: Нет, я их не возьму обратно.

МИСТЕР ШИХИ: Я призываю достопочтенного депутата от Денби... К порядку, к порядку!..

15 (22)

[В Маллингаре: осенний вечер]

ХРОМОЙ НИЩИЙ (*стискивая свою палку*):...Так это вы мне вчера кричали вдогонку, вы.

ДВА МАЛЬЧУГАНА (*установившись на него*): Нет, сэр.

ХРОМОЙ НИЩИЙ: Я знаю, это вы были... (*махая угрожающе палкой*)... Зарубите себе, что я вам говорю... Видите эту палку?

ДВА МАЛЬЧУГАНА: Да, сэр.

ХРОМОЙ НИЩИЙ: Так вот, если будете еще мне кричать, я вас этой палкой распотрошу. Я вам отобью все печенки... (*разъясняет свои слова*)... Слыхали? Распотрошу вас. Отобью вам все нутро, все печенки.

16 (26)

Белый туман выпадает снежными хлопьями. Тропа меня выводит к полутемному пруду. В пруду что-то движется, какой-то полярный зверь с грубой рыжей шкурой. Я тыкаю своей тростью и когда он вылезает из воды, я вижу, что у него покатаая спина и что он очень неуклюж. Я не пугаюсь и, тыкая в него быстро тростью, гоню его впереди себя. Он тяжело переставляет лапы и бормочет слова на каком-то языке, которого я не понимаю.

17 (28)

[Дублин: в доме Шихи на Бельведер-плейс]

ХАННА ШИХИ: Конечно, будут огромные толпы.

СКЕФФИНГТОН: Это, знаете ли, будет, как выразится наш друг Джокекс, триумф черни.

МЭГГИ ШИХИ (*произносит с пафосом*): Быть может, уже в этот миг чернь у наших дверей!

18 (30)

[Дублин, на Северной Кольцевой: Рождество]

МИСС О'КАЛЛАХАН (*почти шепчет*): Я же вам сказала название, «Сбежавшая монахиня».

ДИК ШИХИ (*громко*): О, я бы не стал читать подобную книгу... Я должен спросить у Джойса. Послушайте, Джойс, вам случалось читать «Сбежавшую монахиню»?

ДЖОЙС: По моим наблюдениям, в данное время происходит некоторый феномен.

ДИК ШИХИ: Какой феномен?

ДЖОЙС: О... появляются звезды.

ДИК ШИХИ (*обращаясь к мисс О'Каллахан*): Вам не случалось ли наблюдать, как... в данное время на кончике носа у Джойса появляются звезды?... (*она улыбается*)... Ибо по моим наблюдениям сейчас происходит этот феномен.

19 (42)

[Дублин: в доме на Гленгарифф-пэрейд, вечер]

МИССИС ДЖОЙС (*появляется на пороге гостиной, трясущаяся, багровая*): Джим!

ДЖОЙС (*за пианино*): Что, мама?

МИССИС ДЖОЙС: Ты что-нибудь знаешь про тело?... Что надо делать?... Там что-то такое течет у Джорджи из отверстия в животе... Ты не слышал никогда, чтобы такое случилось?

ДЖОЙС (*с удивлением*):... Не знаю...

МИССИС ДЖОЙС: Надо наверно за врачом, как ты думаешь?

ДЖОЙС: Не знаю... Какое отверстие?

МИССИС ДЖОЙС (*начиная раздражаться*): Отверстие, которое у нас всех... тут (*показывает*).

ДЖОЙС (*поднимается*).

20

Все заснули. Я встану сейчас... Он лежит на моей постели, где прошлую ночь я лежал: его накрыли простыней, на глаза положили ему монетки... Бедный малыш! Мы часто с ним вместе хохотали, он так легко носил свое тельце... Как мне жаль, как жаль что он умер. Я не могу молиться за него как другие... Бедный малыш! А все остальное так непонятно!

21 (44)

Двое участников похорон проталкиваются сквозь толпу. Девочка, держась ручонкой за платье женщины, бежит впереди. Лицо девочки бесцветное как у рыбы, со скошенными глазами; лицо женщины небольшое, квадратное, лицо барышницы. Девочка, искривив рот, глядит на женщину снизу вверх, понять, не время ли плакать; женщина, поправляя плоскую шляпку, спешит к кладбищенской часовне.

22 (45)

[Дублин: в Национальной библиотеке]

СКЕФФИНГТОН: Я с такой печалью узнал о смерти твоего брата... мы, к сожалению, слишком поздно услышали... не могли быть на похоронах.

ДЖОЙС: О, он еще был маленький... совсем мальчик...

СКЕФФИНГТОН: И все-таки... это причиняет боль...

23

Тут нет танцев. Выйди вперед, мальчуган, станцуй для них... Он выбегает вперед, гибкий, одетый в темное, серьезный оттого что танцует перед всеми. Музыка для него нет. Он начинает свой танец совсем внизу, в амфитеатре, плавными и медленными движениями, отдельно от одного движения к другому, со всею грацией юности и чуждости, и вскоре он уж кажется вихрем, паучком, закруживающим свою паутину в пространстве, звездой. Меня тянет крикнуть ему какие-то слова восторга, вызывающе прокричать над головами толпы: «Глядите! Глядите!»... Его танец это не танец шлюх, не танец дочерей Иродиады. Он исходит из недр народа, внезапный, молодой, мужественный, и падает обратно на землю, сотрясаясь в рыданиях, и умирает среди своего торжества.

24

На минуту она положила руку мне на колени, потом сняла, и взгляд ее на минуту раскрыл ее – таящуюся и сторожкую, сад, стеной обнесенный. Я помню эту гармонию красного и белого, что создана была для такой как она, славословя ее, призывая ее, нареченную невесту, восстать для обручения и двинуться в путь, с вершины Аманы, от гор барсовых¹. И помню я тот ответ, что вобрал в себя всю совершенную и нежную чуткость тела и души и все тайны ее: *Inter ubera mea commorabitur*².

¹ Парафраз Песн. 4: 8.

² У груди моих пребывает (*лат.*). Песн. 1: 12.

25

Быстрый и легкий ливень прошел, замешкавшись алмазною гроздью среди кустов на прямоугольнике двора, где подымался пар от почерневшей земли. В колоннаде апрельская девичья компания. Они покидают убежище, поглядывая наружу с сомнением, шелестя тонкими башмачками, мило оберегая юбки и направляя под искусно выбранными углами легкое вооружение зонтиков. Они возвращаются в монастырь – в строгие коридоры, простые дортуары, тихие четки часов – услышав прекрасные посулы Весны, посланницы благодатной.....

Посреди дождеомытой равнины высокое простое здание с окнами, едва пропускающими сумрачный свет дня. Триста шумливых и голодных мальчишек сидят за длинными столами, поедая говядину с каемкой зеленого жира и овощи, что еще отдают землей.

26

Она обручена. Она с ними танцует в хороводе – белое платье слегка развевается в танце, в волосах ветка белых цветов; глаза смотрят чуть в сторону, на щеках легкий румянец. На мгновение ее ручка в моей руке, будто изящнейшая покупка.

– Вы сейчас так редко сюда приходите. —

– Да, я превращаюсь в затворника. —

– А я встретила как-то вашего брата... Он так похож на вас. —

– В самом деле? —

Она с ними танцует в хороводе – плавно, неуловимо кружа, не отдаваясь никому. Белая ветка слегка сбивается во время танца, и когда она в полосе тени, румянец на ее щеках кажется ярче.

27

Чуть слышно, под тяжким покровом летней ночи, чрез безмолвие града, чьи сны сменились тяжким сном без сновидений, подобно усталому любовнику, которого не трогают больше ласки, по дублинской дороге доносится стук копыт. Звуки приближаются к мосту, стали слышней – и в тот миг, когда они мчатся мимо темных окон, безмолвие пререзает будто стрела тревога. Теперь они уже слышны вдалеке, копыта алмазами сверкнули под тяжким покровом ночи, стремясь среди притихших серых болот – к какой цели странствия? – к чьему сердцу? – и с какими вестями?

28

Слабо поблескивают волны в безлунной ночи. Корабль входит в гавань, где светятся кой-где огоньки. Море беспокойно, в нем накопившийся темный гнев, словно глаза зверя, который готов к прыжку, который во власти мучительного голода. По побережью плоская равнина с редкими деревцами. На берегу столпилось много народа, они глазят, что за корабль входит в их гавань.

29

Длинная загибающаяся галерея. С пола поднимаются как столбы темные испарения. Множество каменных изваяний каких-то легендарных королей. Их руки устало сложены на коленях, их взоры застланы, потому что перед ними как темные испарения без конца поднимаются заблуждения людей.

30

Зов рук и голосов: белые руки дорог, их обещания тесных объятий и черные руки высоких кораблей, неподвижно застывших под луной, их повесть о дальних странах. Их руки тянутся ко мне, желая сказать: мы одни – приди. И голоса вторят им: мы народ твой. И в воздухе делается тесно от их скопления, они призывают ко мне, своему сородичу, готовясь в путь, расправляя крылья юности, ликующей и пугающей.

31

Тут мы сошлись все вместе, странники, тут мы обитаем среди запутанных улочек, укрытые плотно молчаньем и ночью. Мы здесь в дружестве и покое и совершенном довольстве, убрав из памяти всю непрямоту тех путей, какими ходили мы. Но что надвигается на меня из тьмы, мягко и шепчуще как поток, страстно и бурно, с непристойными движениями чресл? Что вырывается из меня с ответным криком, как орел отзывается орлу в полете, с криком победным, криком, взывающим о жесточайшей покинутости?

32 (52)

Толпа людей сгрудилась в загончике, топчутся по грязи. Проходит толстуха, юбки до неприличия подняты, уткнулась физиономией в апельсин. Бледный парень без пиджака, с лондонским акцентом, делает фокусы, прихлебывает из бутылки. Маленький старичок, у него на зонтике мыши; полицейский в тяжелых башмаках бросается и хватает зонтик: маленький старичок исчезает. Букмекеры выкрикивают имена, ставки, один вопит детским голоском: «Красавчик!», «Красавчик!»... Сгрудившиеся в загончике человеческие создания топчутся туда и сюда в густой слякоти. Некоторые спрашивают, идут ли скачки, им отвечают «Да» или «Нет». Оркестр заиграл... Вдали на солнце посверкивает прекрасный вороной конь с желтым наездником.

33

По две или по три они фланируют среди бульварного оживленья с походкой людей, проводящих свободное время в местах, что освещаются специально для их прогулок. Вот они в кондитерской, болтают, поедают маленькие булочки или молча сидят за столиками кафе ближе к выходу или спускаются из фиакров, и их одеяния шуршат деловито и мягко как голос прелюбодея. Они фланируют в надушенном воздухе, и их надушенные тела распространяют запах теплый и влажный... Ни один мужчина их не любил, и они сами не любили себя: они не давали ничего за все то, что давалось им.

34 (56)

Она приходит в ночи, когда город стихает; она невидима и неслышима, и не была призвана ничьим зовом. Она приходит из старого своего обиталища навестить самого смиренного из своих сыновей, самая чтимая из матерей, словно он никогда от нее не отчуждался. Ей ведомы все глубины сердца и поэтому она нежна, она не требует и не укоряет, говоря: я умею чувствовать перемену, влияния воображения в сердцах у моих детей. Кто жалеет тебя, когда тебе тоскливо среди чужих? Годы и годы я любила тебя, когда носила тебя во чреве.

35 (57)

[*Лондон: в заведении на Кеннингтон*]

ЕВА ЛЕСЛИ: Ну да, Моды Лесли сеструха мне а Фред Лесли брат – ты-то вот небось не слыхал про Фреда Лесли?.. (*мечтательно*)... У-у, а он знашь та-акой хер беложопай... Ну щас-то нету ево...

(*погода*)

Я ж те балакала как один со мной кончил десять разов за ночку... Так то он, Фред, родной братуха мой Фред... (*мечтательно*)... Из себе красавчик... Ух, уж кого люблю – Фреда...

36 (59)

Да, они сестры. Та, что взбивает мощными руками (их масло славится), выглядит мрачной и расстроенной – другая довольна, потому что поставила на своем. Ее зовут Р... Рина. Я знаю, как на их языке глагол «быть».

– А вы Рина?

Я знал, что она Рина.

Но вот и он сам в сюртуке с фалдами, в старомодном цилиндре. Не обращает внимания на них: шествует мелкими шажками, отводя фалды сюртука... Боже милостивый, какой же он небольшой! Наверняка, он уже очень стар, тщеславен... Может быть, он совсем и не то что я... Смешно, эти две крупные женщины рассорились из-за такого небольшого человечка. Но, простите, он самый великий человек в мире...

37 (65)

Я улегся на палубе напротив машинного отделения, откуда шел тепловатый запах смазки. Под французскими скалами гуляют гигантские туманы, окутывая берег от мыса до мыса. Шум моря словно шорох несметной чешуи... За туманными стенами, в темном кафедральном соборе Богоматери я слышу звонкие слаженные голоса мальчиков, поющих там перед алтарем.

38 (70)

[Дублин: на углу Коннахт-стейшн, Фибсборо]

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК (*у садовой калитки*):...Не-е...

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА (*став на одно колено, берет его за ручку*): Ну тогда ты Мейби больше всех любишь?

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК: Не-е...

ВТОРАЯ ДЕВУШКА (*наклоняется над ним, поднимая взгляд*): Кого ж ты больше всех любишь?

39 (71)

Она стоит, слегка придерживая у груди книгу, читает урок. На фоне темной материи ее платья ее лицо с мягкими чертами, опущенными глазами, мягко очерчивается светом; а с шапочки в складках, сдвинутой небрежно вперед, свисает кисточка на каштановые выющиеся волосы...

Что это за урок она читает – про обезьян, про необыкновенные изобретения, а может быть, сказания о мучениках? Кто ведает, какие глубокие размышления и воспоминания пробуждает этот милый силуэт Рафаэля?

40

[Дублин: на О'Коннелл-стрит, в аптеке Гамильтона Лонга]

ГОГАРТИ: Так это для Гогарти?

ПРОДАВЕЦ (*смотрит*): Да, сэр... Изволите заплатить сейчас?

ГОГАРТИ: Нет, выпишите счет и доставьте. Адрес вам известен.

ПРОДАВЕЦ (*берет перо*): Д-да.

ГОГАРТИ: 5, Ратленд-сквер.

ПРОДАВЕЦ (*наполовину про себя, записывая*):... 5... Ратленд... Сквер.

Портрет художника

Обыкновенно черты младенчества не передаются в портрете отроческом, ибо настолько мы переменчивы, что не можем или не желаем представлять прошлое ни в каком ином виде, кроме чугунного мемориала. А ведь прошлое с ручательством предполагает текучую смену настоящих, развитие некой сущности, лишь одною из фаз которой служит наше теперешнее настоящее. И опять-таки мир наш осознает соприкосновение с нею разве что по признакам бороды или дюймов роста и, по большей части, отстраняется от тех из членов своих, кто тщится путем некоего искусства, некоего умственного процесса, пока еще нерасчисленного, высвободить из олицетворенных сгустков материи то, что есть их индивидуирующий ритм, первое или формальное отношение их частей. Но для им подобных портрет – не удостоверяющий документ, а скорей уж изгиб эмоции.

По общим суждениям, употребление разума предворяется приблизительно семью годами и потому нелегко установить точный возраст, в котором природная восприимчивость героя сего портрета пробудилась к идеям вечного проклятия, необходимости покаяния и действительности молитвы. Обучение рано развило в нем усиленное чувство духовных обязанностей, в ущерб тому, что именуется «здравым смыслом». Он торопился весь выложиться, будто расточительный святой, изумляя многих своим порывистым пылом и многих задевая монастырским своим обличем. Однажды в лесу неподалеку от Малахайда какой-то труженик был приведен в восхищение зрелищем отрока лет пятнадцати, охваченного экстазом молитвы, в восточной позе. Прошло поистине немалое время, прежде нежели этот отрок уразумел природу того ходкого товара, что удобным образом позволяет отдавать должное устоям, отнюдь не изменяя сообразно с ними собственной жизни. Пищеварительная ценность религии им никогда не ставилась высоко, и он выбирал, полагая более подходящим к своему случаю, те более бедные и смиренные ордена, в которых исповедник не тщился выказать себя, хотя бы в теории, человеком светским. И все ж, вопреки продолжавшимся срывам, постыдно низвергавшим его с захватывающих высот благочестия, в пору своего поступления в университет он еще по-прежнему обретал исцеление в духовных подвигах.

В ту же приблизительно пору, чтобы оградить свой кризис, он перед всеми и каждым напускал на себя своеобразную загадочность. Он довольно быстро сумел увидеть, что ему следует распутывать свои дела под покровом тайны, и необходимость скрытности была всегда для него легким бременем. Он избегал судачить о скандалах, проявлять любопытство к другим, и это поддерживало фактически выносимый им приговор, отчасти внося еще привкус героичности, дающий удовлетворение. Частью неискоренимого эгоизма, который позднее ему предстояло назвать искупителем, было то, что все деяния и помыслы микрокосма он воображал сходящимися к себе самому. Является ли отроческий разум средневековым, что он так прозорлив к тайным пружинам? Полевые виды спорта (или то, что аналогично им в мире умственном) суть, вероятно, самое действенное лечение, но для этого фантастического идеалиста, готового одним махом ускользнуть от сопящего виденья в бутсах, эти игры в охоту были равно смехотворны и неравны, на поле, выбранном с невыгодой для него. Но за быстро отвердевающим щитом отзывался чутко чувствительный. Пусть-ка эта свора злобностей, всхрапывая и спотыкаясь, пожалует к нему, в его горы после своих игрищ; у него есть свои уголья: и его блестящие олени рога метали презренье им. В этом образе сквозила явная лесь себе, а вдобавок и опасность самодовольства. По каковой причине, пренебрегая натужным гавканьем того хора, что никакие лиги расстояний не сделают музыкальным, он принялся с высокомерием диагностировать юнцов.

Его суждения были изящны, нарочиты и резки; его фразы пластичны. Эти юноши видели во внезапной смерти скучного французского романиста явленный нам перст Бога Эмману-

ила; они восхищались Гладстоном, физикой и трагедиями Шекспира и верили в приложимость католического учения ко всем повседневным нуждам, посредством дипломатического языка Церкви. В своих отношениях между собой и со старшими они выказывали некий нервический и – когда речь заходила о власти – чрезвычайно английский либерализм. Он заметил полуусторженное, полусуждающее обхождение со стороны одного кружка негласно давших зарок чуждаться тех, для кого (ходил слух) разгульная жизнь не была неведомой. Хотя союз веры и отечества всегда был свят в этом мире легко воспламеняемых порывов, куплет Дэвиса с обвинениями наименее послушных натур срывал неизменный аплодисмент и едва ли память Макмануса чтилась здесь менее памяти кардинала Коллена. У них были многие основания считаться с властями; и даже если студенту запрещали сходить на «Отелло» («Там есть грубые выражения», говорили ему), насколько этот крест не был тяжек! Не было ли это скорее свидетельством чуткой заботы и внимания и не заверяли ли их в том, что в их будущей жизни эта забота продлится и внимание сохранится? По поводу действий власти могли еще иногда выражаться сомнения, но по поводу ее намерений – никогда. И кто ж тогда живеет этих юношей готов откликнуться на шуточки добряка-профессора или на неотесанность мужлана-привратника, кто сильнее озабочен тем, чтобы всемерно оберегать и лично превозносить честь Alma Mater? Со своей стороны, он был в трудном возрасте, обездоленный и нуждающийся, чувствительный ко всему, что было недостойного в подобных нравах, и принадлежащий к тем, кто по меньшей мере в мечтах знал благородство. Честнейший иезуит порекомендовал службу клерком у Гиннеса: и без сомнения, кандидат в клерки на пивоварне не питал бы к замечательному сообществу всего лишь презрение и жалость, не будь того обстоятельства, что он желал (на языке людей учености) труднодостижимого блага. Невозможным было, чтобы он нашел утешение в обществах для поощрения умственных занятий мирян или какой-нибудь еще комфорт, помимо физического, в теплом благочестивом братстве, среди скопления шальных или нелепых невинностей. В добавление, невозможным было, чтобы натура, вечно и трепетно устремленная к экстазу, решилась смириться, чтобы душа предписала той своей части, над которой подобно мантии уже ниспадал образ красоты, рабскую покорность. Однажды вечером, ранней весной, стоя у подножья ступеней библиотеки, он сказал другу: «Я покинул Церковь». И по пути домой, пока они шли по улицам рука об руку, он поведал ему, в словах, что казались отзвуком их закрытия, как он покинул ее через врата Ассизи.

Воцарился выверт. Вскоре простая история Поверелло вышла из головы у него, и он водворился в самом безумнейшем окружении. Аббат Иоаким, Бруно Ноланец, Михаил Сендивогиус, все иерархи инициаций свершали над ним свои заклатья. Он нисходил в преисподние Сведенборга и простирался во мраке святого Иоанна Креста. Внезапно небеса его озарялись сонмищем звезд, отметами сути всей природы: то душа вспоминала древние дни. Как алхимик, склонялся он над своим ремеслом, сводя воедино таинственные стихии, отделяя тончайшее от грубого. Превыше всего для художника были ритмы фраз и периодов, символы слова и аллюзии. И было ли хоть на йоту странным, что из этой дивной жизни, в которой он уничтожил опыт и выстроил его заново, утрудившийся и отчаявшийся, он вышел с единственной целью – воссоединить сынов духа, издавна разделенных и ревнующих, собрать их воедино против лжи и господства Князя. Тысячу вечностей предстояло утвердить вновь, и Божественному знанию предстояло быть восстановленным. О тщета! с той же легкостью мог бы он выстроить полком ветры. Они ссылались на свои житейские попечения – общественные правила, наследственную апатию расы, мать, не чающую души, христианскую басню. Предательства их были по чистому расчету. Всюду, где общественный монстр это позволял, они держали на самую крайнюю неортодоксальность, отстаивали примат воображения в этике, анархию (простой народ), синие треугольники, рыбообразные божества, в порыве провозглашая необходимость действия. Его отместкою были фраза и изоляция. Сваливши эмансипантов в одну груду – Отравленное Масло – он удалился из этих слишком скользких кругов.

Он как-то написал, что изоляция – первый принцип художественной экономии, однако в ту пору откровения, от имени традиции или от собственного, настойчиво заявляли свои права, и самососредоточенность приветствовалась разве что с робостью. Но все ж в промежутках меж дружбами (ибо он отодвинул от себя три) он познал сестринскую близость задумчивых часов, и сейчас внутри у него начинала расти надежда, что он обретет с ними то чувство безмятежности, ту уверенность, каких не мог обрести среди людей. В ненастный сезон какая-то тяга увлекала его в одинокие и молчаливые места, где туманы развешаны лентами меж деревьев; и когда он проходил там, во власти обволакивающей ночи, средь потаенного падения листьев, запаха дождевых струй, пронзаемой луной завесы испарений, ему мнились предостереженья о хрупкости всех вещей. Летом же его увлекало к морю. Блуждая по сухим, поросшим травой холмам или вдоль берега, с видом сборщика моллюсков, он почти был готов в нетерпении торопить день. Бродящие в полосе отлива, в чьи детские или девичьи волосы, девичьи или детские одежды забиралась вся своенравность моря, – даже они не завораживали. Однако при увядании дня приятно было глядеть на последние редкие фигурки, разбросанные островками в дальних озерцах отлива, и когда вечер стучал серое мерцанье над морем, он отправлялся прочь, прочь по мелководью, возносимый святою радостью одиночества, поющий пылкую песнь приливу. Скептически, цинически, мистически он жаждал абсолютного удовлетворения и теперь мало-помалу начинал постигать красоту смертного жребия. Он помнил одну сентенцию Августина: «Открылось мне, что те вещи благи, каковые предались порче; каковые не могли бы предаться порче ни если бы они были совершенно благи, ни если бы вовсе не были благими: ибо, будь они совершенно благи, были бы недоступны порче, а будь несколько не благи, не имели бы в себе ничего, что могло бы предаться порче». Философия примирения... возможно... [две строки оригинала утрачены из-за дефекта рукописи]... освещены цветными огнями, но в покоях сердца огни ничуть не угасли, напротив, они горят как на свадьбу.

Дражайшая из смертных! Невзирая на посвящавшиеся стихи, на комедию встреч, здесь и в нелепом обществе сна, фонтан бытия (как казалось) смешал свои воды. Годы назад, в мальчишестве, когда энергия греха раскрывала перед ним мир, он узнал о тебе. В его помутненном взоре возникали на фоне осеннего неба желтые газовые фонари, таинственно поблескивающие там, перед этим пурпурным алтарем, – группы у дверей, расположившиеся как для какого-то обряда, – мелькнувшие сцены пиршества, призрачного веселья – чье-то смутное лицо, приветствующее его, словно пробуждаясь от вековой дремы под его взглядом, – слепое смятение (бесчинство! бесчинство!), внезапно охватывающее его, – во всем этом страстном приключении похоти ужели ты была в совершенной непричастности? Благотельнейшая! (находчивость любви была в этом именовании) в урочный час являешься ты, как колдунья в миг агонии самопожирателя, посланница сияющих царств жизни. Как мог бы он воздать тебе за это обогащение души, тобою вкушенное? Владенье искусством достигнуто было в иронии; аскетизм разума был одним из расположений возмущенной гордыни; но кто, коль не ты единственная, открыл ему его самого? Путями нежности простой и не мудрствующей лукаво, любовь твоя вызвала в нем стержневые потоки жизни. Руки твои ты обвила вокруг него, и в интимном пленении сем, в мягком волнении твоей груди, в экстазах молчаний, шепотах слов, сердце твое говорило к его сердцу. Твое водительство могло утончить и направить его страсть, придав хитроумнейший угол непритязательной красоте. Священнодейственной была ты, напечатлевая зримой благодати нестираемый знак твой. Литаниею надлежит чтить тебя; Дева Древ Яблоневого, Благая Мудрость, Нежный Цветок Заката. В иную пору не было непривычным вымышлять трапезы в белом и пурпурном над действительностью похлебки, но здесь уж точно в распоряжении имела пища и тонкая, и грубая, и не было нужды в вымыслах. Его путь (резкая натура!) сейчас выводит к измеримому миру, на широкие пространства действия. Кровь в его жилах лихорадочно ускоряет бег, нервы скапливают электрическую силу, стопы подбиты пламенем. Поце-

луй: и вот они взвиваются нераздельно ввысь, глаза и губы сияют, в телах звучанье торжествующих арф! Еще, возлюбленная! Еще, суженая! Еще, жизнь принадлежит нам!

В более спокойном расположении критик, сидящий в нем, не мог не подметить странной прелюдии к новой венчающей эре в период меланхолии и разлада. Он составил роспись своих утрат – весьма-таки удручающую, даже если не входить в обсуждение. Вид фальшивого Христа был явно маскою физической немощи, а та, в свою очередь, клеймом и знаком вульгарных эксцессов; откуда простодушие, воздержность, мягкая любезность и весь сей сонм одомашненных достоинств. В печальной настроенности на худшее, он осаждаем сумрачными видениями своих умерших, видениями (будящими еще большую жалость) всех жизней, от рождения тупо влачащихся вперед, то зевая, то завывая, заморышей и телом и духом, чьи видения явились как знак временного провала его былой выдержки. Сквозь тучи трудностей, окутавшие его, пробивались одни лишь слабые проблески; даже его риторика проповедовала переход. Он мог бы вменить себе в вину по меньшей мере неспособность доказать одним махом все, и некие разрозненные попытки подсказывали необходимость планомерной кампании. Вера его росла. Она внушила ему дерзость сказать покровителю искусств: «А какой у вас аванс под духовные блага?», капиталисту же заявить: «Мне требуются две тысячи фунтов для одного предприятия». Он истолковал для ортодоксальной классической учености живую мысль «Поэтики» и из неопалимой купины беспутств глагола ночному полисмену об истинном положении публичных женщин: но горы сии не подвинулись и не воспоследовало грозящей гибелью церебрации. В горячечном порыве он взывал к эльфам. В наши дни многие, казалось бы, не могут избежать выбора между чувствительностью и косностью; они либо рекомендуют себя сомнительному меньшинству посредством верительных грамот культуры, либо подчиняют более обширный мир, словно ступок мышц. Но он усматривал между лагерями подходящий для себя кусок почвы, шансы для демона-насмешника на острове, вдвойне удаленном от материка, под соединенным управлением Их Мощностей и Их Бычностей. Итак, его Neco³, писавшееся среди хоров галдящих торговцев-иудеев и орущих язычников, было отважно начертано тогда, когда истинно верующие предрекали жаровни для атеистов, и выставлено в пику похабству преисподних нашей Святой Матери: однако, когда сей взрыв миновал, в военных действиях соблюдалась обходительность. Возможно, его государство отправило бы старую тиранию на пенсию – милость, что уже не была безнадежно далека, – во имя той зрелой цивилизации, в которую (если все учесть) оно внесло все же кой-какой вклад. Уже телеграф разносил по всему миру посланья граждан, уже из тридцатилетней войны в Германии родилась великодушная идея и завладевала умами на соборах латинян. К тем множествам, что еще покуда не пребывали в утробах человечества, однако с ручательством способны были там зародиться, он бы обратил слово: Мужчина и женщина, от вас приходит та нация, что должна прийти, просветление ваших трудящихся масс; строй, основанный на конкуренции, сам подрывает себя, аристократии вытесняются; и посреди всеобщего паралича нездорового общественного порядка вступает в действие воля конфедератов.

Джес. А. Джойс
7–1–1904

³ Отрицаю, отвергаю (лат.).

Герой Стивен

XIV

[...] ⁴ наций. Они протягивались, желая сказать: Мы одни – приди; и голоса говорили вместе с ними: Мы твой народ; и в воздухе становилось тесно от их скопления, и они зывали к нему, своему сородичу, готовясь в путь, расправляя крылья юности, ликующей и пугающей.

Отъезд в Париж⁵

С вокзала Бродстоун до Маллингара – миль пятьдесят пути, пролегающего по срединным землям Ирландии. Маллингара – столица графства Уэстмит и главный город всего этого края; меж ним и Дублином оживленное движение крестьян и перевозки скота. Поезд покрывает эти пятьдесят миль примерно за два часа – и потому вам надлежит представить Стивена Дедала прижатым в углу вагона третьего класса и слабым дымком своих сигарет вносящим лепту в смердящую и без того атмосферу. Вагон населяло сообщество крестьян, почти у каждого из которых имелся при себе узел, связанный из платка в горошек. В вагоне крепко пахло крестьянами (запах, унижающая человечность которого крепко запомнилась Стивену с утра его первого причастия в маленькой церквушке Клонгоуза) – до того едко и терпко, что юноша не мог решить, шокировал ли его [был ли ему неприятен] этот запах пота оттого, что крестьянский пот нечто монструозное, или оттого, что на сей раз он не исходил от его собственного тела. Ему не стыдно было сознаться себе, что запах его шокировал [был ему неприятен] по обоим причинам. От самого Бродстоуна крестьяне играли в карты обтерханной и потемневшей колодой, и всякий раз, когда кому-то из них пора было выходить, он брал свой узел и неуклюже проталкивался в дверь, которую никто за собой не закрывал. Они разговаривали мало и редко поглядывали на сменявшиеся за окном картины; только на вокзале в Мануте джентльмен, облаченный в цилиндр и фрак и громогласно наставлявший носильщика касательно ящика с машинами, привлек на несколько минут изумленное их внимание.

В Маллингара Стивен извлек из сетки свой маленький ладный саквояж и вышел на станционную платформу. Пройдя меж когтями контролеров, он немного помедлил в нерешительности, покуда не был замечен кучером небольшого темно-зеленого кабриолета. Кучер осведомился у него, не тот ли он молодой человек, которого ожидают к мистеру Фулэму, и, получив утвердительный ответ, пригласил садиться. Отправились без происшествий. Кабриолет был не слишком чистым и весьма тряским, и время от времени Стивен с беспокойством поглядывал на свой подпрыгивающий саквояж, а кучер неизменно заверял его, что ничего не случится. Повторив это точно в тех же словах несколько раз, кучер смолк и после продолжительной паузы спросил Стивена, не из Дублина ли он. Будучи успокоен на сей предмет, он опять смолк и принялся задумчивыми движениями сгонять кнутом мух, устроившихся на неопрятной шкуре между оглоблями.

Кабриолет проследовал длинной, извилистой главной улицей и, миновав мост через канал, взял направление к выезду в поля. Стивен заметил, что большинство строений были маленькими домишками, и, увидав массивное квадратное здание, что поднималось посреди

⁴ Рукопись романа не была подготовлена автором к печати, дойдя до нас неполной и неисправной. Пояснения помет в тексте, связанных с состоянием рукописи, см. в заметке Т. Спенсера (первого публикатора «Героя Стивена»), которую мы приводим в начале Комментария.

⁵ Заголовок крупно вписан между абзацами наискосок, синим карандашом.

парка, обнесенного сплошной высокой стеной, спросил у кучера, что там. Последний ответил, что там лечебница для душевнобольных, добавив со значительной миной, что пациентов в ней множество. Дорога извивалась меж тучных пастбищ, и в полях, сменявших друг друга, Стивен видел пасущиеся стада. При некоторых из них виднелись сонные пастухи, но большинство были предоставлены самим себе и, следуя течению своих фантазий, неторопливо перемещались с земель болотистых на твердые или же с твердых на болотистые. Крохотные хижины вдоль дороги утопали в буйно цветущих кустах роз, и часто в дверях можно было увидеть фигуру женщины, в молчании созерцавшей равнину. Порой им случалось обогнать путника-крестьянина, тяжело топающего по дороге, и тот, если находил Стивена достойным таковой чести, приветственно приподнимал шляпу. Двигаясь по пыльной дороге, кабриолет мало-помалу приближался к дому мистера Фулэма.

Это был старый дом неправильных очертаний, стоявший в окружении красивой рощицы и почти не видный с дороги. К дому вела неухоженная подъездная аллея, а позади дома сплошные заросли рододендронов постепенно спускались к берегу Лох-Оул. Сторожка привратника была выбелена известкой, и у дверей ее сидел малыш в рубашонке, грызущий большую корку хлеба. Ворота были открыты, и кабриолет свернул на аллею. Она шла дугой, и, проехав по ней несколько сотен метров, экипаж стал у дверей старого дома, утратившего свою окраску.

Едва кабриолет остановился, из дверей навстречу прибывшим вышла молодая женщина, державшаяся со спокойным достоинством. Она была с ног до головы в черном; темные волосы схватывал на висках простой гладкий зачес. Она протянула руку.

– Добро пожаловать, – проговорила она. – Дядя сейчас в саду. Мы услышали, как вы подъезжаете.

Слегка коснувшись ее руки, Стивен поклонился.

– Дэн, оставь пока этот саквояж в передней, а вы пожалуйста со мной, мистер Дедал. Надеюсь, вы не слишком устали с дороги; путешествовать – это так утомительно.

– Нет-нет, нисколько.

Она провела его из передней по коридору, и через маленькую стеклянную дверь они вышли в большой фруктовый сад, разбитый квадратом; его ближняя половина оставалась еще на солнце. Здесь, под прикрытием широкополой соломенной шляпы, обретался мистер Фулэм в плетеном кресле. Он встретил Стивена наиприветнейшим образом; последовали обычные вежливые расспросы. Мисс Хауард принесла небольшой поднос, на котором были фрукты и молоко, и гость с удовольствием принялся за еду и питье, потому что горло его [было] заполонила дорожная пыль. Мистер Фулэм задавал множество вопросов о занятиях Стивена, о его вкусах; мисс Хауард, храня молчание, оставалась у его кресла. При одной из пауз в допросе она взяла подносик и отнесла в дом. Вернувшись, она предложила показать Стивену сад. Мистер Фулэм не замедлил вновь углубиться в свою газету, а она повлекла юношу за собой по дорожке между кустами смородины. Расспросы крестного оказались для Стивена довольно суровым испытанием, и он взял реванш, контратаковав мисс Хауард вопросами о названиях, о сроках цветения и плодоношения, об условиях разведения ее разнообразных растений. Она внимательно выслушивала и отвечала на все, но с тем же видом некой безучастной точности, что отмечала все ее действия. В отличие от их последней встречи, он больше не ощущал благоговения в ее присутствии, и ему подумалось, что, быть может, та непорочность натуры, которую он тогда воспринимал как укор себе, была всего лишь умением держаться с редким достоинством. Такое достоинство не особенно привлекало его, а новая юношеская пылкость его переживаний была заметно задета отсутствием всякого оживления у нее. Он приписал это отсутствие не привычке к механическому исполнению функций, а некой особой цели и решил сделать для себя интеллектуальную игру из разгадыванья этой цели. Поставить эту задачу толкало его еще и подозрение в том, что предполагаемая цель, управляющая ее поведением, наверняка враждебна его теперешним сердечным порывам и будет, видимо, ее побуждать из импульсив-

ного недоверия избегать его, ища естественной защиты в бегстве. Этот-то импульс к бегству и должен сделаться его добычей; и он немедленно мобилизовал все свои способности для охоты на него.

Ужин был подан в половине седьмого в длинной комнате, обставленной без затей. Стол освещался высоким серебряным светильником хорошей работы и оставлял впечатление элегантной простоты. Приспособиться к этому холодному стилю было небольшим испытанием для голода Стивена, и, согреваемый удовольствием от еды, он осуждал эту странную манеру человеческих существ как неестественную и неблагодарную. Беседа также отдавала жеманностью, и слова «мило», «прелестно» и «чудесно» слышались слишком часто, чтобы Стивену это могло быть по вкусу. Очень скоро он обнаружил слабое место в броне мистера Фулэма; как большинство своих соотечественников, тот был политиком с убеждениями. Соседи мистера Фулэма были, по большей части, примитивные личности, и он среди них, при всей ограниченности своих идей, считался человеком зрелой культуры. В дискуссии, что завязалась за игрой в безик, Стивен услышал, как его крестный разъясняет менее отесанному владельцу природу деяний отцов-миссионеров, приобщающих к цивилизации китайский народ. Он отстаивал положения о том, что Церковь является главным хранилищем также и светской культуры и что традиция учености происходит бесспорно от монахов. В пышной славе Церкви он видел единственное убежище людей от угрозы демократии и заявил также, что Аквинат предвидел все современные открытия. Соседа его весьма занимали перипетии, ожидающие души китайцев в мире ином, однако мистер Фулэм оставил эту проблему у открытых врат милости Божией. В этот момент беседы мисс Хауард, прежде хранившая молчание, сказала, что существуют три рода крещения, и данная справка была принята в качестве заключения дискуссии.

Долгое время Стивен пребывал в сомнениях относительно мотивов покровительства крестного. На другой день после его приезда, когда они возвращались в экипаже с теннисного турнира, мистер Фулэм спросил:

– А мистер Тэйт – твой профессор английского языка, не так ли?

– Да, сэр.

– Он родом из Уэстмита. Мы его тут частенько видим во время каникул. Мне кажется, он очень заинтересуется тобой.

– А, так вы с ним знакомы?

– Да. Сейчас у него что-то с коленом, он слег, а то я написал бы ему и пригласил. Может быть, в какой-то из дней мы сами прокатимся его навестить... Он, знаешь ли, необычайно начитанный человек.

– Да, – отвечал Стивен.

Для развлечения Стивена были мобилизованы военные оркестры, теннисные турниры, матчи в крикет на природе и местные выставки цветов. Во время таких событий он замечал, что перед его крестным отцом весьма открыто заискивали, а с мисс Хауард обращались с крайней почтительностью, и он начал подозревать, что за этим кроются какие-то деньги. Развлечения не особенно веселили юношу; он держался настолько незаметно, что часто его оставляли без внимания и ни с кем не знакомили. Порой какой-нибудь офицер окидывал неучтиво пристальным взглядом его неказистые белые башмаки, но в таких случаях Стивен всегда вперял свой взгляд прямо в лицо врагу. После недолгой дуэли взглядов юноша обычно достигал перемирия. Он обнаружил, к своему удивлению, что мисс Хауард исполняла свои светские обязанности с полнейшей охотой. Он был неприятно поражен, услышав однажды из ее уст шуточный каламбур – каламбур, который, не будучи слишком остроумным, тем не менее вызвал вежливые смешки двух чопорных лейтенантов. В силу солидного возраста и всеобщего почтения, мистер Фулэм мог не отказывать себе в роскоши отчитать публично кого-нибудь, когда к тому представлялся случай. [Когда] Однажды какой-то офицер рассказал с юмором историю, соль которой состояла в высмеивании деревенских представлений. [Мистер Фулэм сказал:

– Многие вещи могут быть неведомы для наших крестьян]

История была такова. Как-то вечером этот офицер с одною знакомой были застигнуты проливным дождем в глуши, на дороге в Киллукан, и им пришлось искать убежища в крестьянском домишке. Там сидел у огня старик, покуривая грязную глиняную носогрейку, которую он зажимал в углу рта перевернутою вниз. Поскольку вечер был зябкий, старик пригласил вошедших устраиваться ближе к огню, сказав, что из-за своего ревматизма он не может подняться и принять их как должно. Знакомая офицера, молодая и ученая дама, заметила над очагом какой-то рисунок, грубо сделанный мелом, и спросила, что он изображает. Крестьянин ответил:

– Внучонок мой Джонни намалевал о ту пору как цирк здесь наежжал в город. Увидел по стенкам картинки и давай-кося клянить у мамки четыре пенса вишь ему слонов поглядеть. Ну попасть-то туды попал да только черта кривова тама энти слоны были. Ну он стало и намалевал.

Дама рассмеялась, а старик, поморгав на огонь красными глазами, продолжал посасывать трубочку ровными затяжками, шамкая сам с собой:

– А слышать энти слоны-то гряд дело обнакновенное, у них-де и разуменье ровно как у хрисьян... Однаво видывал сам картинку как ездют на них черные арапы верхами да так-то околачивают так-то охаживают дрючками што ахти мне. Пра-слово те с робятенком боле хлопот как⁶ с энтими даром што аграмадины.

Молодая дама, которую это необычайно забавляло, принялась рассказывать мужику про доисторических животных. Выслушав и помолчав, старик медленно произнес:

– Пра-слово, ну и должно страхолюдные тварины на том на последнем конце света.

На взгляд Стивена, офицер отлично рассказал историю, и, когда она кончилась, он смеялся вместе со всеми. Мистер Фулэм оказался, однако, иного мнения; он стал весьма назидательно высказываться против заключавшейся здесь морали.

– Смеяться над крестьянином просто. Ему неведомо множество вещей, которые считаются в мире важными. Но мы не должны в то же время забывать, капитан Старки, что крестьянин, очень возможно, [является] ближе к идеалу истинно христианской жизни, чем многие из нас, осуждающих его.

– Я не осуждаю его, – ответил капитан Старки, – но меня это развеселило.

– Наше ирландское крестьянство, – продолжал мистер Фулэм с убежденным напором, – это становой хребет нации.

Становой иль нет, однако главное наслаждение Стивену доставляли его постоянные наблюдения за крестьянами. Физически это были образцы почти монгольского типа – грузные, угловатые, с узко прорезанными глазами. Всякий раз, когда он шел сзади какого-нибудь крестьянина, Стивен всегда⁷ обращал внимание на его скулы, выступающие так резко, что, казалось, они раскалывали воздух; крестьяне же, в свою очередь, умели, видимо, распознавать черты горожанина, поскольку разглядывали юношу словно диковинного зверя. Однажды Дэна послали в город для покупки какого-то лекарства в аптеке; Стивен поехал с ним. Кабриолет остановился на главной улице у аптеки, и Дэн протянул рецепт уличному мальчишке-оборванцу, сказав, чтобы тот передал его аптекарю. Оборванец показал предварительно рецепт приятелю, оборванному не менее чем он сам, и оба вошли в аптеку. Выйдя обратно, они остались у дверей, привалившись к ним и переводя взгляд попеременно со Стивена на хвост кобылы и с хвоста кобылы на Стивена. Глубоко погружившись в созерцание, оба не заметили, как прямо перед ними вдруг очутился горбатый нищий, который надвигался на них, сжимая палку в руке:

– Так это вы мне вчера кричали вдогонку, вы!

⁶ На полях карандашом написано: «чем».

⁷ Мы воспроизводим стилистическую ошибку оригинала.

Два мальчугана, съжившиеся в дверях, испуганно глядя на него, отвечали:

– Нет, сэр.

– Я знаю, это вы были!

Вплотную приблизив к их лицам свою злобную физиономию, нищий начал угрожающе махать палкой.

– Зарубите себе, что я вам говорю. Видите эту палку?

– Да, сэр.

– Так вот, если будете еще мне кричать, я вас этой палкой распотрошу. Я вам отобью все печенки.

Он принялся разъяснять подробнее перепуганным детям:

– Слыхали? Я вас этой палкой распотрошу. Отобью вам все нутро, все печенки.

Инцидент вызвал тупое восхищение нескольких зевак, которые расступились перед нищим, когда он заковылял дальше по тротуару. Дэн, наблюдавший сцену из кабиолета, спустился с козел и, попросив Стивена присмотреть за лошадью, направился в ближний, весьма грязного вида трактир. Стивен остался в экипаже, вспоминая физиономию нищего. Никогда прежде ему не случалось видеть в человеческом лице столько злобы. Несколько раз он наблюдал за лицами инспекторов в школе, когда те наказывали учеников широкой линейкой в коже, но эти лица казались ему не столько злобными, сколько глупыми, распаленными исполнением служебного долга. Образ пронзительных глазок нищего задел в юноше чуткую струну ужаса, и, чтобы унять острую ее дрожь, он стал насвистывать.

Через несколько минут из аптеки появился толстый и ярко-рыжий юноша с двумя аккуратными пакетиками. Стивен узнал Нэша, а Нэш узнал Стивена – засвидетельствовав это тем, что мучительно переменялся в лице. Стивен мог бы насладиться сполна замешательством своего старого недруга, однако, презрев такой путь, он вместо этого протянул ему руку. Нэш был здесь помощником фармацевта, и когда он узнал, что Стивен гостит у мистера Фулэма, в его обращении появилась сдержанная почтительность. Стивен, однако, вернул его быстро к неприужденности, и когда Дэн вернулся из затрапезного заведения, двое уже оживленно болтали. Нэш заявил, что Маллинггар – чертова дыра, последнее из всех мест, что сотворил Бог, и спросил Стивена, как тот его может переносить.

– Я об одном тут мечтаю – вернуться в Дублин, больше я ничего не хочу.

– А как ты тут развлекаешься? – спросил Стивен.

– Развлекаешься! Ты тут не можешь. Тут нету ничего.

– Но иногда ведь у вас концерты? В день моего приезда я видел какие-то афиши насчет концерта.

– А, с этим все уже. Патер Лохан наложил тяжелую лапу – как же, приходской пастырь.

– Почему это он?

– Ты лучше его спроси. Он говорит, его прихожане не желают куплетов и канканов. Если они хотят приличный концерт, они могут его устроить в школе. Ну, он их так приструнил, я тебе доложу.

– А, вон тут что!

– Они тут его до смерти боятся. Если он вечером заслышит, что где-то в каком-то доме поздно танцуют, стучит в окно, – и раз! – свеча мигом гаснет.

– Ну и дела!

– Факт. И знаешь, у него есть коллекция женских шляпок.

– Шляпок!

– Вот-вот. Вечерком, когда девочки выходят гулять с солдатами, он тоже выходит и, если поймает какую-нибудь, срывает шляпку с нее и уносит домой к себе, а тем, кто потом приходит, просит отдать, уж он им прописывает пилюлю!

– Какой славный малый!.. Слушай, нам пора уже. Я думаю, еще увидимся.

– Заходи завтра, ладно? У меня короткий день будет. И знаешь, кстати, я тебя познакомлю тут с моим другом – очень приличный парень – в газете служит, в «Икземинер». Тебе он понравится.

– Отлично. До завтра!

– Пока! Приходи часа в два.

По дороге домой Стивен начал задавать Дэну вопросы, а тот притворялся, будто не слышит их; если же Стивен проявлял настойчивость, он отделялся самыми краткими ответами. Было ясно как день, что он не желает обсуждать своего духовного наставника, и Стивену пришлось отступить.

За ужином в этот день мистер Фулэм был настроен общительно, и он начал явственно направлять нить беседы к Стивену. Его метод «втягивать» собеседника был не самым тактичным методом, но Стивен, видя осуществляемую стратегию, ждал, пока к нему обратятся прямо. К ужину был приглашен сосед, некий мистер Хеффернан. Мистер Хеффернан далеко не разделял воззрений хозяина, и потому в этот вечер разгорелись оживленные споры. Сын мистера Хеффернана изучал ирландский язык, ибо он считал, что ирландцам следует говорить на своем родном языке, а не на языке своих завоевателей.

– Но в Америке, где такая свобода, какой Ирландия вообще вряд ли достигнет когда-нибудь, люди совсем не возражают против английского языка, – сказал мистер Фулэм.

– Американцы другое дело. У них нет языка, который они могли бы возродить.

– Что до меня, то я не возражаю против моих завоевателей.

– Потому что вы при них занимаете хорошее положение. Вы не труженик. Вы пожинаете плоды работы националистов.

– Пожалуй, вы мне начнете сейчас говорить, что все люди равны, – заметил иронически мистер Фулэм.

– Что же, в этом есть смысл.

– Скорей бессмыслица, дорогой сэр. Наши соотечественники не ведают ничего о Реформации, как они ее называют, и я надеюсь, [это] они пребудут в том же неведении о французской революции.

Мистер Хеффернан вернулся к исходной теме:

– Но им бы заведомо не повредило узнать кой-что о своей собственной стране – о ее традициях, истории, языке!

– Для тех, у кого масса досуга, это может быть и неплохо. Но я, как вам известно, противник всяческих подрывных движений. Наш жребий бесповоротно с Англией.

– Юное поколение с вами не согласно. Мой сын, Пэт, сейчас обучается в Клонлиффе, и как он мне рассказывал, там все семинаристы, а им завтра быть нашими священниками, имеют такие настроения.

– Католическая Церковь, дорогой сэр, никогда не будет подстрекать к мятежу. Но здесь вот с нами один из юного поколения. Пускай он выскажется.

– Я совершенно равнодушен к принципам национализма, – сказал Стивен. – У меня достаточная личная свобода.

– И вы не чувствуете никакого долга перед родиной, никакой любви к ней? – спросил мистер Хеффернан.

– Честно говоря, нет.

– Но в таком случае вы живете как животное, лишённое разума! – воскликнул мистер Хеффернан.

– Мой собственный разум, – отвечал Стивен, – для меня более интересен, чем вся страна.

– Вы думаете, пожалуй, что ваш разум важнее Ирландии!

– Именно так я думаю.

– У вашего крестника странные идеи, мистер Фулэм. Позвольте спросить, это иезуиты вас научили этому?

– Иезуиты научили меня другому – читать и писать.

– Но и религии также?

– Естественно. «Какая польза человеку, если он приобретет целый мир, а душу свою потеряет?»⁸

– Никакой пользы, безусловно. Это совершенно так. Но человечество предъявляет требования к нам. У нас есть долг по отношению к ближнему. Мы восприняли заповедь любви.

– Да-да, я это слышу каждое Рождество, – молвил Стивен. Мистер Фулэм рассмеялся на это, но мистер Хеффернан был уязвлен.

– Возможно, я прочел меньше, чем вы, мистер Фулэм, и даже меньше, чем вы, молодой человек, но я верю, что благороднейшее чувство любви у человека, после любви к Богу, это любовь к родине.

– Иисус был другого мнения, чем вы, мистер Хеффернан, – сказал Стивен.

– Вы произносите очень дерзкие речи, молодой человек, – произнес мистер Хеффернан тоном неодобрения.

– Я не боюсь высказываться открыто, – отвечал Стивен, – даже по поводу приходских священников.

– Вы еще слишком молоды, чтобы поминать Имя Святое с такой легкостью.

– Я не богохульствую. Я сказал то, что хотел сказать. Идеал, который Иисус открывает человечеству, – это идеал отрешенности, чистоты и одиночества; идеал, который предлагаете вы, – это идеал мщения, страстей и поглощенности мирскими делами.

– Мне кажется, Стивен прав, – произнесла мисс Хауард.

– Я хорошо вижу, – сказал мистер Фулэм, – к чему ведут эти все движения.

– Но ведь невозможно, чтобы мы все вели жизнь отшельников! – воскликнул в отчаянии мистер Хеффернан.

– Мы можем примирить между собой оба образа жизни, если выберем путь добрых католиков, исполняя сначала наш долг пред Богом, а затем обязанности нашего положения в жизни сей, – сказал мистер Фулэм, с удовлетворением напирая на последнюю часть фразы.

– Вы можете быть патриотом, мистер Хеффернан, – сказал Стивен, – не обвиняя при этом в безбожии тех, у кого другие взгляды.

– Но я вовсе не обвинял...

– Хорошо-хорошо, – благодушно произнес мистер Фулэм, – мы все понимаем друг друга.

Эта небольшая перепалка доставила удовольствие Стивену; для него было приятным упражнением направить артиллерию ортодоксии на строй ортодоксов и поглядеть, как он держится под огнем. Мистер Хеффернан казался ему типичным ирландцем-провинциалом: категоричный и боязливый, сентиментальный и злобствующий, идеалист в речах и реалист в поведении. Труднее было понять мистера Фулэма. Его восхваления ирландского крестьянина полны были ярого патернализма, за истовой приверженностью к Церкви крылась приверженность к феодальным привилегиям и природная покорность той силе, в которой он видел источник этих привилегий. Он любил внедрять свои аристократические взгляды в живой стиль:

– Послушайте, мистер Такой-то, вы ведь по ярмарочным дням закупаете в городе скотинку?

– Да.

– А потом заходите⁹ бега и там ставите на лошадок, какие вам приглянутся?

– Ваша правда.

⁸ Мф. 8: 36.

⁹ Пропущено «на».

– И вы гордитесь, что смыслите кой-что в скачках и в беговой породе?

– Должен признаться.

– Так как же вы тогда говорите, что у людей нет аристократической породы, если у животных она, сами знаете, имеется?

Гордость мистера Фулэма была гордостью бюргера под тяжким дорогим балдахином, который он соорудил [воздвиг] и любовно содержал. Он питал страсть к феодальному порядку вещей и не желал лучшей участи, чем быть раздавленным им, – извечная тяга человека поклоняющегося, бросается ли он под колесницу Джаггернаута, или со слезами умиления молит Бога искоренить в нем страсти, или же сладко обмирает под властной рукой любовницы. Для человека нижестоящего и с чувствительною душой его милость обернулась бы нестерпимой пыткой ума, но при этом у подателя милости не было бы ни вида самодовольного фарисея, ни фарисейского языка. Его взгляд на человеческие отношения был бы, пожалуй, прогрессивным в те эпохи, когда земля считалась ладьеобразной, и живи он тогда, он мог бы заслужить репутацию самого [мягкосердого] просвещенного из рабовладельцев. Глядя, как старый джентльмен с важностью протягивает мистеру Хеффернану табакерку и тот, запуская туда крупные свои пальцы, волей-неволей умиротворяется, Стивен думал: [к]

– Мой крестный отец – папский посланник в Уэстмите.

Нэш поджидал его у дверей аптеки, и они вместе направились по главной улице к редакции «Икземинера». В окне, поверх коричневой грязной шторы, [была] торчала [мордочка] голова белого фокстерьера, умные глаза коего были единственным признаком жизни в редакции. Послали за мистером Гарви и вскоре получили от него сообщение, чтобы два его визитера следовали в «Гревильский герб». Мистер Гарви обнаружился сидящим в баре; шляпа его была сдвинута с покрасневшегося лба далеко на затылок. Он был занят тем, что «обхаживал» барменшу, однако при входе посетителей встал и пожал им руки. Затем, по его настоянию, они все уселись пропустить стаканчик. Барменша вновь подверглась «обхаживанию» Гарви, а также и Нэша, однако все оставалось в рамках. Она была девушкой с мягкой манерой обращения и весьма соблазнительной фигурой. Протирая стаканы, она занималась легкой беседой с молодыми людьми, кокетничая и сплетничая; казалось, вся жизнь городка знакома ей как свои пять пальцев. Один-два раза она упрекнула мистера Гарви в ветрености, спросив Стивена, не стыдно ли это такое женатому человеку. Подтвердив ее мнение, Стивен принялся считать пуговицы на ее корсаже. Барменша сказала, что Стивен разумный и симпатичный юноша, не какой-нибудь ловелас, и очень мило улыбнулась ему, ловко орудуя салфеткой. Через некоторое время юноши покинули бар, но не прежде чем коснулись пальчиков барменши и приподняли перед нею шляпы.

Мистер Гарви призвал свистом терьера из редакции, и они отправились на прогулку. Он носил тяжелые башмаки и продвигался в них грузно и решительно, стуча по мостовой посохом. Дорога и реальность душного дня расположили его к рассудительности, и он принялся подавать своим спутникам здравые советы старшего.

– В конечном счете, чтоб парню остепениться, вернее женитьбы не придумаешь. Покамест не получил это место, в «Икземинере», я тут погуливал с друзьями, попивал малость... Ну, ты знаешь, – адресовался он к Нэшу. – Нэ[ш]¹⁰ кивнул.

– А теперь у меня дом хороший, – продолжал мистер Гарви, – и... вечером уже ты идешь в свой дом... ну, а захочешь выпить... что же, можешь и выпить. Совет мой каждому молодому парню, кто это может себе устроить, – женись молодым.

– Что-то есть в этом, – сказал Нэш, – конечно, когда слегка уже погулял.

¹⁰ Рукопись здесь надорвана.

– Само собой, – сказал мистер Гарви. – Кстати, надеюсь, ты ко мне как-нибудь зайдешь вечерком, и друга приводи тоже. Вы придете, мистер Дедал? Хозяйка рада будет; она, знаете, немного на пианино играет.

Стивен промямлил благодарственные слова, решив про себя, что он скорее вытерпит тяжкие физические страдания, чем нанесет визит мистеру Гарви.

Гарви начал рассказывать журналистские истории. Услышав от Нэша, что Стивен имеет склонность писать, он сказал:

– Даю ценное указание: стенография.

Он поведал много примеров, которые все иллюстрировали его бойкость и удачливость в своем ремесле, и сообщил, что однажды он «тиснул» заметку в лондонской утренней газете и получил за нее недурной гонорар тут же с обратной почтой.

– Эти парни в Англии, они, знаете, умеют наладить дело. Да и платят дай Бог.

День стоял знойный, и весь городок как будто подремывал, разомлев, но когда они подошли к мосту через канал, то заметили метрах в сорока целую толпу, которая собралась на берегу. Мальчишка из мясной лавки рассказывал обступившим его рабочим:

– Я ее первый увидел. Примечаю – чего-то там зеленое, длинное среди значаща ряски ну и пошел Джо Коклана позвать. Мы с ним обое ладим вытащить, ну больно тяжело. Ну што тогда я смекаю значаща нам бы ежели где багром разжиться. Ну што тогда я да Джо идем к Слэйтеру во двор на зады...

Рядом с самой кромкой воды на берегу виднелся какой-то предмет; часть его была накрыта бурым мешком. То было тело женщины: она лежала лицом к земле, подле черных густых волос натекла лужица воды. Тело было выгнуто вверх, ноги раскинуты, но на [слово оторвано] кто-то натянул [слово оторвано] ночную рубашку. Женщина прошлой ночью сбегала из лечебницы для душевнобольных, и Стивен слышал, как многие бранят санитарок.

– Лучше б 'циентам абеспечивали уход, чем ухлестывать за каждым там докторишкой.

– Уж их такое абзаведенье.

Пес мистера Гарви стал обнюхивать тело, однако хозяин дал ему увесистого пинка, и собака сжалась в дугу, визжа. На некоторое время воцарилось молчание; не двигаясь с мест, все продолжали смотреть на тело, пока не раздался чей-то голос: «Вон доктор!» По тропке быстро спускался плотный хорошо одетый человек, не обращая внимания на приветствия; через несколько минут Стивен услышал, как он сказал, что женщина мертва, и дал указания найти телегу для перевозки тела. Трое молодых людей продолжали путь, однако Стивена пришлось сначала подождать и окликнуть. Он задержался, глядя в воду канала у ног ее тела и всматриваясь в клочок бумаги, на котором было напечатано: «Лампа. Журнал...» – остальное было оторвано, и вокруг плавали в воде еще несколько обрывков.

День уже близился к закату, когда молодые люди расстались. Стивен попрощался с приятелями, обещая повидаться вскоре опять, и пошел по тропинке, которая уходила в поля. Почва под ногами была коварной, и Стивен то и дело соскальзывал в воду, выступавшую на торфяниках. Ему удалось, однако, обнаружить широкую тропу, шедшую выше болота и столь же надежную, как проезжая дорога. Солнце снижалось, и на глубоком золоте закатных небес прочерчивались склоненные силуэты редких сборщиков торфа. Тропа вывела его к задворкам усадьбы мистера Фулэма; он перелез через ограду, пересек рощицу и достиг места назначения. На мягкой траве шаги его были совершенно бесшумны. При выходе из рощицы он резко остановился. Мисс Хауард стояла, прислонясь к высоким входным дверям, лицом к закату. Полыхающий закат покрывал ее платье ржавыми полосами и осыпал блестками ржавчины копну темных волос. Стивен направился к ней, но когда был уже в нескольких шагах

[Лакуна в сохранившейся рукописи: со с. 506 до с. 519 по нумерации Джойса]

XV

[...] все, кто с ним говорил, примешивали к ожиданию подчеркнуто вежливое недоверие. «Его [жесткие] непокорные каштановые волосы были зачесаны со лба назад, однако без особого тщания. [Лицо] Девушке он бы мог показаться привлекательным – а мог и не показаться: черты лица были правильны, и выражение смягчалось небольшим женственным ртом, почти обретая [определенно заметную] красоту. При беглом взгляде глаза не особенно выделялись на лице: они были небольшие и светло-голубые, пресекающие охоту к сближению. Хотя они были чисты и бесстрашны, его лицо вопреки этому было до некой степени лицом распутника.»

Ректор колледжа был личностью, изъятый из повседневного обращения и возникавшей в качестве председательствующего на встречах выпускников и на открытиях студенческих клубов. Зримыми заместителями его были декан и эконоом. Эконоом, думалось Стивену, вполне подходил к своему званию: тяжеловесный, краснолицый человек «с шапкой черных седеющих волос.» Он отправлял свою должность с большим чувством, и часто видели, как он дефилирует по вестибюлю, наблюдая за приходом и уходом студентов. Он требовал пунктуальности: опоздание раз-другой на одну или две минуты – из этого он не делал истории; хлопнет в ладоши и отпустит добродушный упрек. Но ежедневно на несколько минут – вот это уж делало его суровым: тут нарушался надлежащий порядок учебы. Стивен почти всегда опаздывал больше чем на четверть часа, и [потому], когда он являлся, эконоом обычно уже сидел у себя в кабинете. Однако как-то раз он пришел в колледж раньше обычного. Перед ним по лестнице поднимался полный [юный] студент, очень усердный и робкий юноша, лицо у которого было цвета хлеба с вареньем. Эконоом стоял в вестибюле, скрестив руки [у себя] на груди, и, завидев толстяка, многозначительно посмотрел на часы. Они показывали восемь минут двенадцатого.

– Слушайте, Молони, вы же знаете, что так не пойдет. Опоздали на восемь минут! Так нарушать учебный процесс – с этим мы не можем мириться. Впредь приходите на лекции точно вовремя.

Варенье на лице Молони совершенно закрыло хлеб; он промямлил что-то извиняющееся про неправильные часы и со всех ног бросился по лестнице в свою аудиторию. Стивен [немного] чуть помедлил, вешая пальто под торжественным взглядом тучного священника. Затем он неспешно повернул голову к отцу эконоому и сказал:

– Чудесное утро сегодня, сэр.

Эконоом тут же хлопнул в ладоши, потер их и снова хлопнул. Красота утра и уместность реплики поразили его одновременно, и он весело ответил:

– Прекрасное утро! Отличное бодрящее утро! – и снова принялся потирать ладони.

Однажды [он] Стивен явился в колледж с опозданием на три четверти часа и решил, что более благоприличной стратегией будет подождать до начала лекции по французскому. Свесившись через перила, он ожидал, когда прозвонит двенадцать; и в это время по выходящимся маршам лестницы стал медленно подниматься какой-то юноша. Не дойдя до площадки нескольких шагов, он остановился и повернул свое квадратное деревенское лицо к Стивену.

– Скажите, пожалуйста, я правильно иду в деканат? – спросил он с провинциальным выговором, ставя в слове «деканат» ударение на первом слоге.

Стивен объяснил, как пройти, и двое юношей разговорились. Новичка звали Мэдден, он приехал из графства Лимерик. Держался он не то чтобы неуверенно, но как-то слегка напуганно и был явно благодарен Стивену за его знаки внимания. После лекции по французскому они прошли вместе через Грин, и Стивен отвел нового знакомого в Национальную Библиотеку. У турникета Мэдден снял шляпу; когда он наклонился над стойкой, чтобы заполнить требование на книгу, Стивен отметил у него по-крестьянски сильные челюсти.

Деканом колледжа был профессор английского языка патер Батт. Его считали самым талантливым в колледже; он был философ и эрудит. Он прочел в клубе общества трезвости несколько докладов, где доказывал, что Шекспир был католиком; он также вел полемику с другим отцом-иезуитом, который на склоне лет стал приверженцем бэконовской теории в проблеме авторства шекспировских пьес. В руках патера Батт всегда держал ворох бумаг, а его сутана была обильно выпачкана мелом. Он напоминал по виду стареющую борзую, и казалось, что его голосовые связки, подобно облачению, тоже в мелу. Он умел держаться убедительно с каждым и был особенно —

[Лакуна в сохранившейся рукописи: отсутствуют сс. 524, 525 по нумерации Джойса]

стиха суть главные условия, которым должны подчиняться слова, ритм — это эстетический результат чувств, ценностей и отношений слов, удовлетворяющих этим условиям. Красота стиха равно заключалась в том, что он скрывает свое строение и что он раскрывает его, но она заведомо не могла обеспечиваться только одним или другим. Поэтому манера чтения стихов патера Батта, как и старательное чтение стихов какой-нибудь школьницей, для него были равно невыносимы. Читать стихи в соответствии с ритмом значит читать в соответствии с ударениями, то есть не в точном соответствии со стопами, но и не с полным невниманием к ним. Всю эту теорию он постарался изложить Морису, и Морис, когда он уяснил значения терминов и прилежно свел эти значения воедино, согласился, что теория Стивена правильна. Существовал лишь один возможный способ декламации первого катрена стихотворения Байрона:

Днесь жїзнь моя — осѣнный лист
Цветов, плодов любви уж нет
Лишь язвы гбря, бури свїст
Остались мне.

Братья применяли эту теорию ко всем стихам, какие могли припомнить, и результаты были великолепны. Вскоре Стивен взялся самостоятельно исследовать язык, отбирая и тем спасая для вечности слова и фразы, наиболее отвечающие его теории. «Он стал поэтом с заранее обдуманном преступном намерении.»

Его сразу же захватила кажущаяся экстравагантность прозы Фримена и Уильяма Морриса. Он прочел их произведения как тезаурус и собрал себе «житницу» из слов. Он часами читал этимологический словарь Скита, и его ум, всегда слишком готовый поддаться детскому чувству удивления, бывал часто загипнотизирован самой обычной беседой. Ему казалось, что все люди в странном неведении касательно ценности тех слов, которыми они так небрежно пользуются. И шаг за шагом, по мере того как эта недостойность жизни все более властно обступала его, он все сильнее начинал любить идеализацию — более истинно человеческую традицию. Это явление представлялось ему важным, и он постепенно видел, что люди объединились в заговор низости и Судьба с презрением сбавила для них свои цены. Он не желал такой скидки для себя и предпочитал служить ей на прежних условиях.

Был специальный семинар по английской литературной композиции, и именно здесь Стивен заслужил впервые известность. Английский реферат был для него единственной серьезной работой за всю неделю. Обычно его рефераты были очень длинными, и профессор, который писал передовицы для «Фрименс Джорнел», всегда оставлял их напоследок. Стиль изложения Стивена, [который] хотя он слишком тяготел к архаичному, даже к отжившему и часто впадал в риторику, отличала некая грубоватая оригинальность выражения. Он не давал себе особого труда чем-либо подкреплять продерзости, что утверждались или подразумевались в его рефератах. То были наспех сделанные защитные бастионы, меж тем как по-настоящему он был занят сооружением загадки собственной манеры письма. Ибо этот юноша был осведомлен еще об одном кризисе и хотел подготовить себя к потрясениям, что он принесет.

Вследствие подобных маневров его начали считать крайне неуравновешенным [юношей] молодым человеком, проявляющим необычный для его сверстников интерес к теориям, приемлемым разве что на правах развлечений. Патер Батт, которому не преминули доложить о появлении этих необычных особенностей, однажды заговорил со Стивеном с целью его «прошупать». Патер Батт выразил великое восхищение рефератами Стивена, которые, по его словам, все до одного ему показал профессор литературной композиции. Он поощрил юношу, высказав мысль, что вскоре тот, пожалуй, смог бы что-нибудь написать для какой-нибудь дублинской газеты или журнала. Стивен воспринял это поощрение как знак наилучших, однако же заблуждающихся чувств и пустился в старательные объяснения своих теорий. Патер Батт выслушал и согласился со всем даже с большей готовностью, нежели ранее [Стивен] Морис. Стивен изложил свое учение со всею конкретностью, настаивая на важности того, что он называл литературной традицией. «Слова, говорил он, имеют определенную ценность в литературной традиции и определенную ценность на торжище – ценность девальвированную.» Слова суть просто вместители человеческой мысли; в литературной традиции в них вкладываются более ценные мысли, чем на рынке. Патер Батт выслушивал это все, поминутно потирая подбородок рукой, выпачканной в мелу, кивал головой и «говорил, что Стивен, очевидно, понял важность традиции.» Для иллюстрации своей теории Стивен привел цитату из Ньюмена.

– В этой фразе Ньюмена, – сказал он, – слово используется в соответствии с литературной традицией; здесь оно имеет полную ценность. В обычном употреблении, то бишь на торжище, его ценность совершенно иная, там она снижена. «Надеюсь, я вас не ввожу в заблуждение».

– Что вы, вовсе нет!

– Нет-нет, я...

– Да-да, мистер Дедал, понимаю. Я понял, что вы имеете в виду... глагол «вводить»...

На следующее же утро патер Батт доставил своеобразный ответ на монолог Стивена. Стоял свежий, пощипывающий морозец, и когда Стивен, опоздавший на лекцию по латыни, завернул в физическую аудиторию, он увидел, что патер Батт, стоя на коленях, растапливает огромный камин. Он делал из бумаги аккуратные жгутики и со всем тщанием раскладывал их между палочек и кусков угля. При этом он все время негромким бормотанием комментировал свои действия; наконец в кульминационный момент он извлек из самых дальних карманов выпачканной мелом сутаны три грязных свечных огарка. Их он разместил в различных ямках – и с торжествующим видом взглянул на Стивена. Затем он поднес к выступающим концам бумажек спичку, и через несколько минут уголь занялся.

– Разжечь камин, мистер Дедал, – это искусство.

– Вижу, сэр. Очень полезное искусство.

– Вот именно, полезное искусство. Бывают полезные искусства и изящные искусства.

Сделавши это заявление, патер Батт поднялся с колен и ушел по своим делам, оставив Стивена блюсти разгорающийся огонь; и Стивен предавался раздумьям о быстро тающих огарках и о порицании, ошутимом в манере священника, до самого начала лекции по физике.

Задачу было невозможно решить с налета, но, по крайней мере, художественная часть ее не представляла особых трудностей. Разбирая на семинаре «Двенадцатую ночь», патер Батт пропустил обе песни шута без единого слова о них, и когда Стивен, решивший любой ценой привлечь к ним его внимание, с видом большой озабоченности спросил, надо ли их выучить наизусть, патер Батт ответил, что такой вопрос наверняка не будет в программе:

– Шут поет эти песни для герцога. В то время у аристократов было в обычае держать шутов, которые им пели... ради забавы.

К «Отелло» он отнесся более серьезно и обратил внимание аудитории на мораль пьесы: предметный урок касательно страсти ревности. Шекспир, сказал он, проник в самые глубины человеческой природы; его пьесы показывают нам мужчин и женщин под властью разных страстей, а также нравственные последствия этих страстей. Мы видим борьбу страстей челове-

ских, и подобное зрелище очищает наши собственные страсти. Драмы Шекспира имеют бесспорную нравственную силу, и «Отелло» – одна из величайших трагедий. Стивен приучил себя выслушивать все это с полной невозмутимостью, однако его позабавило, что в то же время ректор не дал разрешения двум жившим в общежитии студентам пойти «на спектакль «Отелло» в театре «Гэйети», заявив, что в пьесе слишком много грубых выражений.»

Монстр, обитавший в Стивене, пустился в последнее время буянить и был готов на кровопролитие по любому поводу. Едва ли не каждое происшествие распалило его, и разум с большим трудом удерживал его в рамках. Но эпизод со вспышкой религиозности, быстро уходящей в область воспоминаний, выработал у него некоторое умение внешне владеть собой, и оно теперь оказывалось весьма полезным. Кроме того, Стивен довольно быстро понял, что он должен распутывать свои дела втайне, и сдержанность отнюдь не обременяла его. Его нежелание обсуждать сплетни и проявлять невежливое любопытство к другим подкрепляло выдвигаемое им на поверку обвинение и не было лишено приятного привкуса героизма. Уже и тогда, когда тот лихорадочный приступ святости снизошел на него, он был знаком с силами разочарования, однако, движимый благочестием, отстранился от них. Эти удары постыдно низвели его к себе самому с захватывающих высот духовного рвения, и самое большее, что могли доставить ему духовные подвиги, было утешение. В этом утешении он крайне нуждался, ибо все соприкосновения с его новым окружением причиняли ему страдание. Он почти не разговаривал с товарищами и исполнял учебные дела без всякого комментария и всякого интереса. Каждое утро он вставал и спускался к завтраку. После завтрака он ехал в город на трамвае, где усаживался наверху на переднем сиденье и подставлял лицо ветру. Он сходил с трамвая у станции Эмменстрит, вместо того чтобы ехать до Колонны, ибо ему хотелось быть участником утренней жизни города. Утренняя прогулка была приятна ему, и ни одно лицо не проследовало мимо него в свою коммерческую тюрьму без того, чтобы он не попытался впиться в него до самого движущего центра его уродства. Входя на Грин и видя на дальней стороне угрюмое здание колледжа, он всегда испытывал недовольное чувство.

В этих прогулках по городским путям и дорогам глаза и уши его были всегда готовы схватывать впечатления. Слова для своей сокровищницы он находил не только у Скита, он обретал их ненароком в лавках, в рекламах, на устах толкущегося кругом люда. Он продолжал их твердить про себя до тех пор, пока они не теряли для него всякий непосредственный смысл, превращаясь в волшебные вокабулы. Он был полон решимости бороться всеми силами тела и души против любых соглашений с тем, что теперь было в его глазах точно ад в аду – иначе выражаясь, с той областью, где все представало очевидным, – и недавний святой, что был прежде «скуп на слова», повинувшись заповеди молчания, лишь с трудом был узнаваем в художнике, приучавшем себя к молчанию, дабы слова не отплатили ему той же монетой за его непочтение. К нему являлись фразы, требуя своего объяснения. Он говорил себе: я должен ждать, когда ко мне придет Евхаристия; и потом принимался переводить фразу на язык обыденного смысла. День и ночь, стуча громко молотком, он строил себе дом молчания, где мог бы ожидать своей Евхаристии; день и ночь собирал первые плоды и всяческие дары мира, громоздя их на свой алтарь, куда, о чем он взывал в молитве, снизошел бы огненный знак удовлетворения. В аудитории, в тиши Библиотеки, в студенческой компании он мог внезапно услышать повеление удалиться и остаться одному, голос, ударяющий прямо в барабанную перепонку, язык пламени, разом достигающий божественную жизнь мозга. Он подчинялся велению и бродил в одиночестве по улицам, поддерживая в себе пылкость надежды восклицаниями, пока не уверялся, что бродить далее бесполезно; и тогда он возвращался домой размеренною неутомимой походкой, без конца сочетая меж собой бессмысленные слова и фразы с размеренною неутомимой серьезностью.

*Конец первого эпизода V*¹¹

¹¹ Надпись, сделанная красным карандашом и, вероятно, отражающая процесс перехода от «Героя Стивена» к «Портрету художника в юности».

XVI

В Святейшей Коллегии во время избрания наместника Христова их преосвященства едва ли блюдут свое уединение неукоснительней, нежели это делал Стивен в то время. Он написал немало стихов и, за отсутствием лучших планов, стихи позволяли ему совмещать в одном лице кающегося и исповедника. В стихах он старался схватить свои самые ускользающие настроения и складывал строки не по словам, а по буквам. Он прочитал у Блейка и Рембо о значениях букв и даже переставлял и комбинировал пять гласных, строя из них вопли для выражения примитивных эмоций. Ни одному из прежних пылов своих не отдавался он так всецело, как этому; «монах теперь казался ему не более чем полухудожником. Он убеждал себя, что для художника необходимо непрестанно трудиться на ниве своего искусства, если он хочет выразить со всей полнотой даже простейшее понятие, и верил, что за каждый миг вдохновения нужно платить вперед. Он не был убежден в справедливости афоризма [Poeta nascitur, non fit] «Поэтами рождаются, а не становятся», но, по крайней мере, был целиком уверен в» справедливости суждения [Poema fit, non nascitur] «стихи создаются, а не рождаются». Буржуазное представление о поэте Байроне в неглиже, изливающим из себя стихи как городской фонтан изливает воду, казалось ему типичным для самых расхожих мнений по эстетическим вопросам и, ополчаясь на него, он поражал его в корень, с «торжественностью заявляя Морису: «Изоляция – первый принцип художественной экономии».»

Стивен никоим образом не погружался в искусство в порыве юношеского дилетантизма, но пытался впиться в смысловое средоточие всего сущего. Он перегибался назад, в прошлое человечества, и ловил там проблески возникающего искусства, как могло бы мелькнуть виденье плезиозавра, возникающего из океана слизистого ила. Ему почти слышались эти первородные вопли страха, радости, удивления, что предшествуют всякой песне, дикие ритмы гребцов на веслах, почти виделись грубые каракули и фигурки божков тех людей, наследниками которых будут Леонардо и Микеланджело. И сквозь весь этот хаос сказаний и легенд, фактов и предположений он стремился провести некую упорядочивающую линию, стремился свести эти бездны прошлого к некоему графическому порядку. Трактаты, что указывались ему, он находил пустячными, ничего не стоящими; «Лаокоон» Лессинга его раздражал. Он удивлялся, как может мир считать ценными достижениями настолько [фантас] надуманные обобщения. Мог ли художник продвинуться к большей несомненности, если он верил, что древнее искусство было пластическим, а современное искусство – изобразительным, причем в данном контексте под древним понималось искусство между Балканами и Мореей, а под современным – повсюду от Кавказа и до Атлантики, исключая область священную и неприкосновенную. Его снедало глубочайшее презрение к тем критикам, для которых термины «греческий» и «классический» были взаимно заменимы; и невоздержный гнев так переполнял его, что [всю неделю в субботу], когда патер Батт дал темой очередного реферата «Отелло», на следующий понедельник Стивен представил лобовое и весьма пространное разоблачение «шедевра»! Студенты покатывались со смеху, а Стивен, с презрением оглядывая веселящиеся физиономии, думал о рептилиях, наделенных способностью самопогружения.

Никто не слушал его теорий; никого не интересовало искусство. «Молодые люди в колледже» считали искусство пороком континента, и за их словами стояло, собственно: «Если нам следует иметь искусство, разве недостаточно тем в Священном Писании?» – ибо художник для них был тот, кто пишет картины. Считалось дурным признаком, если молодой человек проявлял интерес к чему-либо, кроме своих экзаменов или будущего «местиска». Уметь поговорить об искусстве было неплохо, но на поверку оно было сплошь «гниль», и притом наверняка безнравственно, они же знали (или, по крайней мере, слыхивали) насчет мастерских. Они не желали подобных дел у себя в стране. Разглагольствованья о красоте, о ритмах, об эстетике –

они знали, что кроется за этими милыми словесами. Однажды к Стивену подошел крупный, деревенского вида студент и спросил:

– «Скажи-ка, а ты часом не художник?

Стивен, не говоря ни слова, оглядел умственно непробиваемого юношу.

– А то если художник, так чо у тебя волосы-то не длинные?»

Несколько свидетелей сцены рассмеялись, а Стивен попытался вообразить, для какого ученого поприща отец юноши предназначал отпрыска.

В пику своему окружению, Стивен продолжал научные изыскания, с тем большим пылом, что ему мнилось, будто бы на них наложили запрет. Частью неискоренимого эгоизма, который позднее ему предстояло назвать искупителем, было то, что все деяния и помыслы своего микрокосма он мыслил сходящимися к себе самому. Является ли отроческий разум средневековым, что он так прозорлив к тайным пружинам? Полевые виды спорта (или то, что аналогично им в мире умственном) суть, вероятно, самое действенное лечение, и англосаксонские воспитатели предпочитают скорее систему грубой закалки. Но для этого фантастического идеалиста, готового одним махом ускользнуть от сопящего виденья в бутсах, эти игры в войну были равно смехотворны и неравны, на поле, выбранном с невыгодой для него. За быстро твердеющим щитом, уязвимый давал ответ: Пусть-ка эта свора злобностей, всхрапывая и спотыкаясь, пожалует в мои горы за добычей. У него имелась своя земля, и его блещущие олени рога метали презренье им.

И в самом деле, он чувствовал, как в крови его занимается утро; он сознавал, что в Европе уже начинает распространяться какое-то движение. Эта последняя фраза ему определенно нравилась, ибо она, казалось, разворачивает ковром для поступи островитян весь обозримый мир. Ничто не могло убедить его, что мир таков, каким его представляют студенты патера Батта. Он не испытывал ни нужды в осмотрительности, которую именовали необходимейшей, ни пietetа к кодексам, которые именовали основаниями жизни. Он был загадочной фигурой посреди дрожащего общества, в котором у него сложилась некая репутация. Его товарищи не представляли, как далеко можно заходить, следуя за ним, а профессора делали вид, будто полагают, что его серьезность служит достаточной гарантией против попыток неповиновения на практике. Он же, со своей стороны, найдя целомудрие большим неудобством, спокойно и без шума расстался с ним и предавался развлечениям в компании нескольких однокашников из числа тех, кому (как ходили слухи) разгульная жизнь не была неведома. У ректора Бельведера был брат, в то время один из студентов колледжа, и однажды вечером на галерке «Гэйети» (ибо Стивен стал завсегдатаем «райка») другой паренек из Бельведера, который тоже учился в колледже, сообщил на ухо Стивену скандальные сведения:

– Слушай, Дедал...

– Ну?

– Интересно, что бы сказал Макналли, если бы встретил своего брата – знаешь этого парня в колледже?

– Знаю...

– На днях я вижу его в Стивенс-Грин с девкой. Мне тут же подумалось, если б Макналли его увидел...

Сплетник сделал паузу, а затем, испугавшись чрезмерных выводов, с видом знатока серьезно добавил:

– Правда, она из себя была... ничего.

Каждый вечер после чая Стивен выходил из дома и направлялся в город вместе с Морисом. Старший курил сигареты, младший сосал лимонные леденцы, и при содействии этих животных благ они коротали долгие прогулки за философской дискуссией. Морис отличался большим вниманием и как-то вечером сообщил Стивену, что он ведет дневник их бесед. Стивен попросил посмотреть дневник, но Морис сказал, что для этого еще хватит времени по

окончании первого курса. Оба юноши нисколько не сомневались в себе; они смотрели на жизнь чистыми любопытными глазами (Морис пользовался, естественно, зрением Стивена, когда собственного еще не хватало) и согласно питали такое чувство, что достичь здравого понимания так называемых тайн вполне возможно, если только иметь довольно терпения. В этих ежевечерних странствиях их рассуждения достигали высот, и младший из двух смело оказывал помощь старшему в строительстве целой науки эстетики. Они говорили друг с другом в самом решительном тоне, и Стивен находил Мориса весьма полезным, чтобы выдвигать возражения. У них вошло в привычку, дойдя до ворот Библиотеки, задерживаться за окончанием какой-нибудь нити разговора, и это нередко так затягивалось, что уже не имело смысла, как решал Стивен, заходить и усаживаться за чтение; они обращали лица свои к Клонтарфу и тем же манером отправлялись обратно. Не без известного колебания, Стивен показал Морису первенцев своей поэзии, и Морис спросил, кто же она. Стивен уставил перед собой слегка блуждающий взгляд, прежде чем отвечать, и должен был ответить, в конце концов, что он не знает, кто она.

К сей неизвестной стихи были обращаемы теперь регулярно, и казалось, будто тот дурной сон любви, который Стивен считал нужным увековечить в этих стихах, отныне, в эту пору «сырого сиреневого тумана, доподлинно простерся над миром. Он покинул свою Мадонну,» отказался от своего слова и неумолимо отбросил весь свой мирок, – и конечно уж, не было удивительно, что его изоляция растревляла у него иступленные вспышки юношеской страсти и пароксизмы одиночества? То свойство ума, что проявляется таким образом, называют (в случае неисправимости) декадентством, однако, если мы взглянем на [жизнь] мир шире, мы неизбежно увидим здесь процесс, ведущий через разложение к жизни. Случались моменты, однако, когда такой процесс казался невыносимым, жизнь на любых общепринятых основаниях – невыносимым оскорблением, и в эти моменты он не молил ни о чем и ни на что не жаловался, но сладко угасающим сознанием чувствовал, что если к нему придет конец, он настигнет его в объятиях неизвестной:

Заря встает, тревога гложет грудь.
Как все бело, и голо, и постыло!
Кольцо объятий поспеши сомкнуть!
Волной волос укрыла б!

Жизнь – сон, всего лишь сон. Прочли уже часы,
Пропели антифон.
От солнца лживого, от призрачной красоты
Уходим к мертвым в дом.

Мало-помалу появления Стивена в колледже делались все менее регулярными. Каждый день он выходил из дома в обычное время и отправлялся в центр на трамвае. Однако он сходил всегда на станции Эмменс-стрит и, идя дальше пешком, частенько предпочитал понаблюдать какие-нибудь обыкновенные проявления городской жизни вместо того, чтобы погружаться в гнетущую жизнь колледжа. Так он часто бродил по семь и по восемь часов кряду, не ощущая ни малейшей усталости. Сырая дублинская зима, казалось, гармонировала с его внутренним чувством неготовности, и малейшие женские заигрыванья заставляли его следовать виляющими неведомыми путями нисколько не с большим рвением, чем следовал он по еще менее подходящим путям за проворным движеньем той, что ускользала, а не заигрывала. Что же такое была эта Одна: объятия любви, лишённые губительности любви, смех, разносящийся поутру в горах, час, когда он мог бы повстречать непередаваемое? И если бы только его сердце вздрогнуло хоть на миг в некоем предчувствии этого, он бы вскричал со всей юношеской страстью:

«Это так! Это так! Жизнь такова, какую мыслится мне». Он презрительно оттолкнул со своей дороги заплесневелые прописи иезуитов и поклялся, что никогда не будет под их господством. Он презрительно оттолкнул со своей дороги и мир более высокой культуры, в котором не было ни учености, ни искусства, ни достойного обхождения, – мир банальных интриг и банальных побед. И прежде всего он презрительно оттолкнул со своей дороги компанию потасканных юнцов – и поклялся, что никогда не даст им втянуть себя в комплот обмана. Чудесные слова! чудесные клятвы! выкрикиваемые смело и страстно наперекор обстоятельствам. Ибо не так уж нечасто, когда экстаз прерывался на время, Дублин внезапною рукой брал его за плечо, и «холод от этого вызова по повестке резко сжимал сердце. Однажды он шел домой через Фэрвью. У развилки дороги на заболоченной полосе берега валялась большая собака. Время от времени она задирала морду в наполненный испарениями воздух и издавала долгий печальный вой.» Люди на тротуарах останавливались, прислушивались. [и] Стивен был среди них, пока не почувствовал первые капли дождя, а потом продолжал свой путь под хмурым надзором небес, слыша время от времени за спиной этот странный плач.

Было естественно, что чем больше стремился юноша к изоляции, тем больше его окружение пыталось помешать ему в этом. Хотя он был всего лишь на первом курсе, его считали личностью, а многие даже думали, что хоть его теории отдают горячкой, смысл-то в них есть. Стивен редко приходил на лекции, ничего не готовил и не появлялся на зачетах, однако не только никто не прохаживался по поводу таких вольностей, но многие допускали, что он, видимо, тип настоящего художника и в духе нравов этого малоизвестного племени занимается самообразованием. Не надо думать, что популярный Ирландский университет был лишен умственного ядра. За пределами сомкнутых рядов поборников национального возрождения тут и там встречались студенты, у которых были свои идеи, и их сотоварищи проявляли к ним относительную терпимость. К примеру, был серьезный молодой феминист по имени Макканн, быстрый в движениях и прямой в речах, носивший бородку и охотничий костюм и бывший верным читателем «Ривью оф ривьюз». Студенты не могли взять в толк, что за идеи влекут его, и считали, что достаточной наградой за оригинальность ему служит кличка «Бриджи». Был также записной оратор – необычайно сговорчивый молодой человек, выступавший на всех собраниях. Крэнли тоже был личностью, а Мэдден вскоре был признан «рупором» патриотической партии. Стивен же, можно сказать, занимал положение вельможи с причудами: весьма немногие слыхивали о писателях, которых он, как передавали, читал, а слышавшие считали их сплошь безумцами. Но вместе с тем его поведение со всеми было столь непреклонным, что его соглашались признать оставшимся в здравом уме и без ущерба преодолевшим все искушения. К нему начали проявлять внимание, зазывать в гости и делать, обращаясь к нему, серьезную мину. Его теории были всего лишь теориями, и, коль скоро за ним покуда не числилось никаких нарушений закона, он был почтительно приглашен сделать доклад в Литературно-историческом обществе колледжа. Дата была назначена на конец марта, и тема была объявлена как «Драма и жизнь». Невзирая на риск убийственной отповеди, многие пытались разговорить молодого оригинала, но Стивен хранил надменное молчание. Однажды, когда он возвращался с вечеринки, репортер одной из дублинских газет, который был в тот вечер представлен юному дарованию, подошел к нему и, обменявшись какими-то репликами, пустил пробный шар:

– Я тут читал этого писателя... как его бишь вы называли... Метерлинка на днях... знаете?

– Да...

– Я читал... По-моему, называлось «Самозванец»... Очень... любопытная пьеса...

Стивен не желал беседовать о Метерлинке с этой личностью, однако ему не хотелось и причинить обиду молчанием, какого равно заслуживали и слова, и тон, и намерение; так что он принялся спешно отыскивать в уме ни к чему не обязывающую банальность, пригодную для уплаты долга взаимности. Наконец он сказал:

– Поставить ее на сцене было бы нелегко.

Журналист был вполне удовлетворен таким ответом, как если бы именно это впечатление и вызвала у него пьеса Метерлинка. Он с убежденностью подтвердил:

– О да!.. почти невозможно...

Когда так задевали самое дорогое сердцу, Стивен чувствовал глубокую рану. Здесь надо сразу и напрямик сказать, что в это время Стивен испытывал определенное влияние, самое прочное в своей жизни. Зрелище мира, которое доставлял ему его разум, со всеми низостями и заблуждениями, рядом с тем зрелищем мира, что доставлял ему сидящий внутри него монстр, достигший сейчас относительно героической стадии, нередко наполняло его существо внезапным отчаянием, смягчить которое удавалось только меланхолическим виршеплетством. Он было совсем уж решил считать оба эти мира чуждыми друг другу – будь сей предельный пессимизм тайным или явным, – но тут, чрез медиума добытых с трудом переводов, он повстречался с духом Генрика Ибсена. Этот дух стал ему понятен «мгновенно.» То же мгновенное понимание явилось у него несколько лет назад, когда он прочел в английской биографии Руссо рассказ, в тоне крайнего замешательства и извинения, о том как юный философ, в ту самую пору, когда он вставал на борьбу за Истину и Свободу, стащил ложки у своей любовницы и допустил, чтобы в краже обвинили служанку. Сейчас было снова как с [извращенным] порочным философом: Ибсен не нуждался ни в адвокатах, ни в критиках: умы старого скандинавского поэта и смятенного юного кельта встретились и совпали в один сияющий миг. Прежде всего Стивена пленила очевиднейшая высота искусства: он был уже недалек от тех дней, когда он стал провозглашать Ибсена – руководясь довольно скудным, конечно, знанием предмета – первым из драматургов мира. В переводах индийских, греческих или китайских драм он видел только его предвестия или предварительные пробы, а в классической французской и романтической английской драме – предвестия более смутные и пробы менее удачные. Однако не одни высота и блеск пленили его, не этому он воздавал ликующую хвалу в радостном порыве духа. За бесстрастной манерой художника чувствовался подлинный дух самого Ибсена: [Ибсен с его глубоким самодовольством, Ибсен с его надменным, утратившим все иллюзии мужеством, Ибсен с его скрупулезной и своевольной энергией.] дух искренней, мальчишеской смелости, гордости, лишенной иллюзий, скрупулезной и своевольной¹². Пускай мир разгадывает себя каким ему угодно манером, пускай гипотетический его Создатель оправдывает Себя любыми процессами, какие сочтет за благо, но достоинство человека нельзя было утвердить ни на иоту сильнее, нежели этим ответом. Здесь, а не в Шекспире и не в Гёте пребывал наследник первого поэта европейцев, здесь, как с тем же успехом лишь у Данте, человеческая личность возымела соединение с художественной манерой, которая сама была почти что естественным явлением; а дух времени готовней сближал с норвежцем, нежели с флорентинцем.

Молодые люди в колледже не имели ни малейшего представления о том, кто такой Ибсен, но из того, что они смогли подхватить там и сям, они подозревали, что он, по всей видимости, один из тех безбожных писателей, которых секретарь Папы заносит в Индекс. Услышать в своем колледже такое имя из чьих-то уст было явно в новинку, но коль скоро наставники не подавали знака к осуждению, они заключили, что лучше всего переждать. Между тем это все произвело на них некоторое впечатление; многие стали поговаривать, что Ибсен, хотя и безнравственен, однако большой писатель, а один из профессоров, как передавали, сказал, что когда он прошлым летом проводил в Берлине свои каникулы, там много говорили о пьесе Ибсена, шедшей в одном из театров. Вместо того чтобы писать курсовую работу, Стивен начал изучать датский язык, и это раздули до сообщений, будто бы он глубокий специалист в датском. Юноша был достаточно лукав, чтобы извлечь выгоду из слухов, опровергать которые он труда себе не давал. Он улыбался при мысли, что эти люди побаиваются его в глубине души

¹² Измененный вариант фразы написан карандашом на полях, возможно, позднее основной рукописи.

как иноверца, и дивился, на каком же уровне должны быть их верования. Патер Батт беседовал с ним помногу, и Стивен с большой охотой выступал «провозвестником» нового порядка. В беседе он никогда не горячился и спорил так, будто бы ход спора заботил его не слишком, в то же время ни на секунду не упуская нити. Иезуиты и их паства могли бы сказать себе: юнцы, независимые с виду, нам знакомы и сговорчивые патриоты знакомы тоже, но что ты за птица? С учетом всех невыгод их положенья, они отлично ему подыгрывали, и Стивен не мог понять, зачем они себя утруждают, приноравливаясь к нему.

– Да-да, – сказал однажды ему патер Батт после одной из подобных сцен, – понимаю... я понял вашу мысль... Ее можно, разумеется, отнести и к драмам Тургенева?

Стивен читал некоторые переводы романов и рассказов Тургенева и был ими восхищен. Поэтому он спросил живо:

– Вы имеете в виду его романы?

– Да, романы... – поспешил подтвердить патер Батт, – его романы, конечно... но ведь они не что иное, как драмы... разве не так, мистер Дедал?

Стивен частенько посещал один дом в Доннибруке, в котором царил дух либерального патриотизма и усердных занятий. В семействе было несколько дочерей на выданье, и едва кто-нибудь из студентов подавал в этом отношении надежду, его неизбежно ожидало приглашение в дом. Молодой феминист Макканн был здесь постоянным гостем, а Мэдден навещался время от времени. Отец семейства, мужчина уже в летах, в будни по вечерам играл в шахматы со взрослыми сыновьями, а по воскресеньям устраивал вечеринки с играми и музыкой. Музыку обеспечивал Стивен. В гостиной стояло старое пианино, и обычно, когда игры напередавали гостям, одна из дочерей подходила с улыбкой к Стивену и «просила спеть какую-нибудь из его прекрасных песен. Клавиши инструмента были стерты и порой не давали звука, но тембр был мягким и сочным; Стивен усаживался и исполнял свои прекрасные песни пред вежливой, утомившейся и чуждой музыке публикой.»¹³ Песни, во всяком случае для него, были и впрямь прекрасны – старинные народные песни Англии, изысканные песни елизаветинцев. По части «морали» они бывали порою слегка сомнительны, и слух Стивена тотчас улавливал нотку неодобренья, когда ему хлопали после них. Любопытные дочери находили эти песни очень оригинальными, но мистер Дэниэл говорил, что Стивену следует петь оперные арии, если он хочет, чтобы его голос оценили как должно. Хотя Стивен не чувствовал никакой взаимной симпатии между собой и этим кружком, ему в нем было легко и просто, и, в полном согласии с их призывами, он там «был как дома», когда сидел на диване, слушая разговоры и пересчитывая пальцами комки конского волоса в обивке. «Молодые люди и хозяйские дочери предавались невинным развлечениям под надзором мистера Дэниэла, но всякий раз как в их играх задевались художественные материи, эгоистически настроенный Стивен относил это на счет своего присутствия. Он видел, как наползает серьезность на умные черты молодого человека, которому выпало задать какой-нибудь вопрос одной из хозяйских дочерей:

– Так, кажется, моя очередь... Что ж... дайте подумать... (и тут он делался так серьезен, как только может молодой человек, до этого хохотавший пять минут кряду)... – кто ваш любимый поэт, Энни?

Воцарялось молчание: Энни думала. Энни с молодым человеком слушали один курс.

– ...Немецкий?

– ...Да.

Энни снова думала, а общество ожидало, когда его просветят.

– Думаю... Гёте.

Макканн зачастую устраивал шарады,» в которых отводил себе самые неистовые роли. Шарady были с большим юмором, и все охотно принимали участие, не исключая и Стивена.

¹³ На полях против этих фраз написано красным карандашом: «не хотелось уходить».

Обдуманый и спокойный стиль Стивена был полной противоположностью бурной манере действия Макканна, и поэтому их часто «спаривали» вместе. Эти шарады слегка утомляли Стивена, однако Макканн чрезвычайно заботился об их устройстве, будучи убежден, что развлечения необходимы для телесного благополучия человечества. Северный акцент молодого феминиста неизменно возбуждал смех, а его украшенное эспаньолкой лицо было весьма способно делать нахальные мины. В колледже Макканн из-за его «идей» так и не стал до конца своим, но здесь он был явно причастен к внутренней жизни семейства¹⁴. В этом доме было в обычае чуть не сразу переходить с молодыми гостями на обращение «по имени,» и хотя Стивен не удостоился такой чести, Макканн никогда не именовали иначе как «Фил». Стивен прозвал его «Душка Данди», по бессмысленной чисто звуковой ассоциации его отрывистого имени и «отрывистых манер с одной» строчкой из этой песни:

Макай, простофиля, макай в чарку нос.

Когда собравшиеся настраивались на серьезный лад, мистера Дэниэла просили что-нибудь декламировать. Мистер Дэниэл был прежде директором театра в Вексфорде и ему часто приходилось «выступать на митингах и собраниях» по всей стране. В почтительной тишине он читал патриотические стихи, произнося их с резкими интонациями. Читали стихи также и дочери. Во время этих декламаций Стивен всегда, не отрываясь, глядел на картину с изображением Святого Сердца, что висела прямо над головой читающего. Сестры Дэниэл выглядели не столь импозантно, как их отец, а их наряды были [слово вымарано] демонстративно национальны. «Иисус же на рыночной литографии как-то демонстративно» выставлял напоказ свое сердце: и обычно эта переключка пустых потуг завораживала сознание Стивена до некоего приятного отупения. Часто представлялась шарада на парламентскую тему. Несколько лет назад мистер Дэниэл был депутатом от своего графства, и поэтому его избирали представлять спикера палаты. Макканн изображал всегда члена оппозиции и резал без обиняков. Какой-нибудь депутат протестовал, и так разыгрывалась пародия на парламентские дебаты:

– Господин спикер, я должен попросить...

– К порядку! К порядку!

– Вы знаете, что это ложь!

– Вам следует взять эти слова обратно, сэр!

– Как я уже говорил до того, как сей distinguished джентльмен меня перебил, мы должны...

– Я не возьму этих слов обратно!

– Я вынужден попросить distinguished депутатов соблюдать порядок.

– Я не возьму своих слов обратно!

– К порядку! К порядку!

Другой любимой игрой была «Кто есть кто». Человек выходит из комнаты, а оставшиеся загадывают имя кого-нибудь, к кому отсутствующий, как считают, питает особую симпатию. Когда же вышедший возвращается, он должен, задавая вопросы по кругу, попытаться отгадать имя. Игру эту часто использовали для того, чтобы привести в смущение юного гостя мужского пола, поскольку по ходу игры как бы предполагалось, что у каждого студента сердечная история с какой-нибудь юной леди, находящейся не в особенном отдалении; но молодые люди, сперва озадаченные намеками, делали в конце концов вид, будто бы, по их мнению, проницательность прочих игроков всего лишь опередила их собственное открытие, неожиданное и не лишнее приятности. В случае Стивена компания не могла всерьез делать подобных предположений, и потому, когда он участвовал в игре в первый раз, для него загадали по-другому. [Компания была] Играющие были не в состоянии ответить на его вопросы, когда он возвратился в комнату: никто из кружка не мог дать ответ на такие вопросы как: «Где это лицо живет?».

¹⁴ Напротив этого абзаца написаны красным карандашом слова: «маскарад: Эмма».

«Состоит ли в браке?», «Сколько лет ему?» до тех пор, пока они быстро вполголоса не посоветовались с Макканном. Ответ «В Норвегии» сразу же дал Стивену ключ к разгадке, игра на этом закончилась, и компания принялась развлекаться в том же духе, как и до этого вторжения серьезности. Стивен уселся рядом с одной из дочерей и, любуясь деревенской миловидностью ее черт, спокойно ожидал ее первых слов, которые, как он заранее знал, мгновенно разрушат впечатление. С минуту ее большие красивые глаза смотрели на него, словно «собирались ему довериться,» и после этого она спросила:

– Как это вы так быстро отгадали?

– Я знал, что вы имеете в виду его. Только вы с возрастом ошиблись.

Другие слышали это; но ее поразила возможная необъятность неведомого, и ей льстило поговорить с одним из тех, кто напрямую беседовал с необычайным. Она наклонилась вперед и заговорила с мягкой серьезностью:

– Ну а сколько же ему?

– За семьдесят.

– Правда?

Стивен считал уже, что он достаточно исследовал данную область, и он прекратил бы свои визиты, не будь двух причин, которые побуждали его продолжать их. Первая причина состояла в неприятности его собственного дома, вторую же служил интерес, вызванный появлением нового лица. Однажды вечером, когда он рассеянно размышлял на диване с набивкой конского волоса, он услышал свое имя и поднялся, чтобы его представили. Перед ним стояла смуглая девушка с развитыми формами, которая произнесла, не дожидаясь, куда мисс Дэниэл представит их:

– Кажется, мы уже знакомы.

Она присела рядом с ним на диван, и он узнал, что она учится в одном колледже с барышнями Дэниэл и подписывается всегда только по-ирландски. Она сказала, что Стивен «тоже должен учить ирландский» и вступить в Лигу. Молодой человек из числа гостей, [с] лицо которого всегда выражало ту же заученную целеустремленность, заговорил с ней через голову Стивена, обращаясь по-свойски и называя ее ирландским именем. Вследствие этого Стивен принял сугубо формальный тон и называл ее исключительно «мисс Клери». Она же, со своей стороны, как будто собралась «включить его в глобальную орбиту своих патриотических чар; и когда он помогал ей надеть жакет, она позволила ему на мгновение задержать руки на теплой телесности своих плеч».

XVII

К этому времени домашняя жизнь Стивена стала достаточно неприятной; направление его развития шло вразрез с течением устремлений его семейства. Вечерние прогулки с Морисом были запрещены, ибо сделалось очевидным, что Стивен совращает брата на стези праздности. На Стивена усиленно наседали с расспросами об его успехах в колледже, и мистер Дедал, раздумывая над его уклончивыми ответами, начал выражать опасения, что его сын попал в дурную компанию. Юноше дали понять, что, если на предстоящих экзаменах он не покажет себя блестяще, на его университетском образовании будет поставлен крест. Предостережение не слишком его смутило, так как он знал, что его судьба в этом отношении в руках его крестного отца, скорее чем родного. Как чувствовалось ему, мгновения юности слишком драгоценны, чтобы растрачиваться в тупых механических усилиях, и он решился идти в своих намерениях до конца, к чему бы это ни привело. В семье рассчитывали, что он сразу же последует по пути респектабельности, сулящей выгоду, и спасет положение, но он не мог оправдать этих ожиданий. Он был признателен за них: они впервые дали расцвести его эгоизму, и он радовался, что его жизнь становится настолько эгоцентрична. Однако он [также] ощущал, что есть некоторые занятия, которые «было бы гибельно» откладывать.

Морис воспринял запрет с крайним неудовольствием, и брату пришлось удерживать его от открытого протеста. Сам же Стивен его перенес легко: он мог прекрасно расслабиться в одиночестве, а человеческие связи, уж если на то пошло, можно было обрести и с некоторыми из однокашников. Теперь он энергично занимался подготовкой своего доклада в Литературно-историческом обществе и всячески старался придать ему максимум взрывной силы. Ему казалось, что одного слова могло бы хватить, чтобы зажечь в студентах порыв к свободе, или, по крайней мере, его трубный глас мог бы созвать под его знамена некое избранное меньшинство. Макканн был председателем общества, и поскольку он стремился заранее узнать идеи доклада, они почасту вместе уходили из Библиотеки в десять и, беседуя, направлялись к жилищу председателя. Макканн слыл человеком бесстрашным и смелым в выражениях, но Стивен обнаружил, что от него трудно добиться какой-то определенности в тех вопросах, которые считались опасной областью. Макканн мог свободно рассуждать о феминизме и рациональном устройстве жизни: он считал, что необходимо совместное обучение обоих полов, дабы они с раннего возраста осваивались с влияниями друг друга, считал, что женщинам должны быть даны все те же возможности, какие даны так называемому сильному полу, и считал также, что женщина имеет право соперничать с мужчиной во всех областях общественной и умственной жизни. Он отстаивал мнение, что человек должен жить, не прибегая ни к каким возбуждающим средствам, что он морально обязан оставить после себя потомство, здоровое духом и телом, и что он не должен допускать над собой диктата каких-либо условностей во всем, что касается одежды. Стивену доставляло удовольствие обстреливать эти теории меткими пулями:

- По-твоему, никакие сферы жизни не должны быть для них закрыты?
- Безусловно.
- Так по-твоему, солдат, полицию и пожарников тоже следует набирать из них?
- Для некоторых общественных обязанностей женщины не приспособлены физически.
- Готов тебе верить.
- Но им должно быть позволено избирать любую гражданскую профессию, к которой они имеют склонность.
- Быть врачами и юристами?
- Безусловно.
- А как насчет третьей ученой профессии?
- Что ты имеешь в виду?

- Ты считаешь, из них выйдут хорошие исповедники?
- Ты далеко заходишь. Церковь не допускает женского священства.
- Ах, Церковь!

Как только беседа доходила до этой точки, Макканн отказывался продолжать. Концом разговора обычно оказывался тупик:

- Но ты же лазаешь по горам, чтобы дышать свежим воздухом?
- Да.
- А летом купаешься?
- Да.
- Но ведь горный воздух и морская вода являются возбуждающими средствами!
- Да, но естественными.
- А что ты называешь неестественным возбуждающим средством?
- Опыняющие напитки.
- Но ведь их производят из природных растительных веществ, разве не так?
- Возможно, но это делается путем неестественного процесса.
- Значит, ты считаешь винокуров великими чудотворцами?
- Опыняющие напитки изготавливаются для удовлетворения искусственно внушенных потребностей. В нормальном состоянии человек не нуждается для жизни в таких подпорках.
- Дай мне пример человека в состоянии, которое ты называешь «нормальным».
- Это человек, живущий здоровой и естественной жизнью.
- Скажем, ты?
- Да.
- Значит, ты представляешь нормальное человечество?
- Представляю.
- Выходит, нормальное человечество близоруко и не имеет слуха?
- Не имеет слуха?
- Да, я так полагаю, у тебя нет слуха.
- Мне нравится слушать музыку.
- Какую?
- Всякую.
- Ты же не можешь отличить одну мелодию от другой.
- Нет, я различаю некоторые мелодии.
- Например?
- Я узнаю «Боже, храни королеву».
- Не потому ли что кругом все встают и снимают шляпы.
- Ладно, допустим, у меня ухо слегка с дефектом.
- А как с глазами?
- Ну, и они тоже.
- Так почему же ты представляешь нормальное человечество?
- В моем образе жизни.
- То есть в твоих потребностях и в тех способах, какими ты их удовлетворяешь?
- Вот именно.
- И каковы же твои потребности?
- Воздух и пища.
- А нет ли каких-нибудь дополнительных?
- Приобретение знаний.
- А ты не нуждаешься также в религиозном утешении?
- Возможно... время от времени.
- А в женщине... время от времени?

– Никогда!

Последняя реплика сопровождалась неким благонаправленным движением челюстей и была сказана столь деловым тоном, что Стивен громко расхохотался. Что до самого факта, то Стивен, при всей своей подозрительности на сей предмет, склонен был верить в девственность Макканна и, хотя относился к ней с большой неприязнью, решил иметь в виду скорее ее, нежели противоположное явление. При мысли о том, к какой обратной отдаче приводит это не имеющее границ упрямство, его почти что бросало в дрожь.

Упорство, с каким Макканн отстаивал праведную жизнь и осуждал беспутство как грех перед будущим, и раздражало, и уязвляло Стивена. Оно раздражало его тем, что было настолько в стиле *paterfamilias*, а уязвляло тем, что словно бы признавало его самого неспособным к подобной участи. Со стороны Макканна это ему казалось несправедливым и неестественным, и он привлек одну сентенцию Бэкона. Цитата гласила, что заботу о потомстве больше всего проявляют те, у кого нет потомства; что же до остального, Стивен заявил, что ему непонятно, по какому праву будущее может ему препятствовать в проявлениях своих страстей в настоящем.

– Учение Ибсена вовсе не таково, – сказал Макканн.

– Учение! – вскричал Стивен.

– Мораль «Призраков» – полная противоположность тому, что ты говоришь.

– Ты рассматриваешь пьесу как научный документ. Фу!

– «Призраки» учат самоограничению.

– О Боже! – с мукой в голосе воскликнул Стивен.

– Вот мой дом, – сказал Макканн, останавливаясь у ворот. – Я должен войти.

– Благодаря тебе для меня теперь Ибсен навеки связан с фруктовой солью Эно, – сказал Стивен.

– Дедал, – произнес решительно председатель, – ты парень неплохой, но тебе еще предстоит усвоить «ценность альтруизма и чувство ответственности индивидуума.»

Стивен решил обратиться к Мэддену, чтобы [разузнать] выяснить, где можно найти мисс Клери. К этой задаче он подошел с осмотрительностью. Они с Мэдденом сталкивались часто, однако редко заводили серьезные разговоры, и хотя крестьянское сознание одного было под весьма сильным впечатлением от столичности другого, в отношениях юношей были тепло и непринужденность. Мэдден, прежде безуспешно пытавшийся привить Стивену националистическую горячку, был удивлен новым поворотом в речах друга. Перспектива свершить столь важное обращение привела его в восторг, и он со всем красноречием начал взывать к чувству справедливости. Стивен на время усыпил свои критические наклонности. Желанная община, к созданию которой Мэдден тщился привлечь его силы, казалась ему не больше чем идеалом, и то освобождение, которым удовольствовался бы Мэдден, ничуть не удовлетворило бы его. Тираном островитян для него был римлянин, а не сакс; и тирания так глубоко въелась во все души, что разум, некогда попраный столь надменно, ныне с пылом доказывал, что эта надменность друг ему. Боевым кличем были слова «Вера и Родина», священные слова в этом мире искусно разжигаемых энтузиазмов. Беспрекословной покорностью и ежегодною данью ирландцы истово добивались той чести, которой с расчетом лишили их, наделив ею те народы, что и в [настоящем] прошлом, и в [прошлом] настоящем если и преклоняли колена, то всегда с вызовом. Меж тем сонмища проповедников уверяли их, что великие почести уже грядут, и призывали вечно хранить надежду. Последние станут первыми, как говорит христианство, и тот, кто себя принизил, возвысится, и в награду за несколько столетий слепой верности «его Святейшество Папа» преподнес запоздалого кардинала острову, что был для него, возможно, всего лишь «позднейшим добавленьем к Европе».

Мэдден был готов признать истиной большую часть этого, но дал понять Стивену, что новое движение является политическим. Если знамя его будет запятнано хотя бы малей-

шей неверностью, народ не сплотится вокруг него, и вот поэтому его работники стремятся, насколько возможно, действовать рука об руку с духовенством. На это Стивен возразил, что, действуя рука об руку с духовенством, революционеры снова и снова обрекают свое дело на неудачу. Мэдден согласился, но ведь сейчас по крайней мере духовенство приняло сторону народа.

– Но как ты не понимаешь, – сказал Стивен, – что они поощряют изучение ирландского, чтобы их паства была тем надежней защищена от «волков неверия»; что они тут видят возможность увлечь народ в прошлое с его слепой заученной верой?

– Но для нашего крестьянина действительно нет никакой пользы в английской литературе.

– Вздор!

– Во всяком случае современной. Ты сам же всегда бранишь...

– Английский язык – средство, связующее с континентом.

– Нам нужна ирландская Ирландия.

– Мне сдается, тебе не важно, какие глупости человек несет, лишь бы он их нес по-ирландски.

– Я не могу во всем согласиться с твоими современными идеями. Мы ничего не хотим принимать от этой английской цивилизации.

– Но цивилизация, о которой ты говоришь, не английская – она арийская. Современные идеи не английские; они в общем русле арийской цивилизации.

– Ты хочешь, чтобы наши крестьяне переняли бы грубый материализм йоркширских крестьян?

– Можно подумать, эту страну населяли херувимы. Черт меня побери, если я вижу большую разницу между крестьянами; они все для меня неотличимы, как один гороховый стручок от другого. Правда, йоркширский, наверно, лучше питается.

– Конечно, ты презираешь крестьянина, потому что живешь в городе.

– Я ни в коей мере не презираю его труд.

– Но ты презираешь его самого – он для тебя недостаточно умен.

– Послушай, Мэдден, это же абсурд. Начать с того, что он хитер как лиса – попробуй-ка, всучи ему фальшивую монету! Но его ум низшего порядка. Я действительно не считаю, что ирландский крестьянин «представляет» какой-то замечательный тип культуры.

– В этом ты весь! Конечно, ты над ним издеваешься, потому что он отстал от века и живет простой жизнью.

– Вот именно, тусклой рутинной жизнью – счет медяков, еженедельный загул и еженедельная обедня – жизнь, проживаемая в мелких плутнях и в страхе, между тенями приходской церкви и богадельни!

– А жизнь в большом городе вроде Лондона кажется тебе лучше?

– Возможно, в английском городе [английский] интеллект не на особо высоком уровне, но уж по крайней мере повыше, чем умственное болото ирландского крестьянина.

– А если сравнить их с точки зрения морали?

– И что же?

– Ирландцы во всем мире известны по крайней мере одной своей добродетелью.

– Ого! Я знаю, что сейчас последует!

– Но это же правда: они целомудренны.

– Без сомнения.

– Тебе нравится на каждом шагу смешивать свой народ с грязью, но ты не можешь его обвинять...

– Хорошо, отчасти ты прав. Я целиком признаю, что мои земляки еще не продвинулись до технических достижений парижского распутства, потому что...

– Потому что?..

– Потому что они делают то же самое вручную, вот почему!

– Бог мой, ты же не хочешь сказать, будто ты думаешь...

– Милый мой юноша, я знаю, что говорю правду, и знаю, что тебе это точно так же известно. Спроси любого нашего священника и любого доктора. Мы с тобой оба учились в школе – и довольно об этом.

– О, Дедал!

На этом обвинении разговор смолк. Потом Мэдден произнес:

– Что ж, если у тебя такие мысли, я не понимаю, зачем ты приходишь ко мне и начинаешь говорить про изучение ирландского.

– Я бы хотел его выучить... просто как язык, – отвечал Стивен лживо. – Во всяком случае, хотел бы попробовать.

– Значит, ты признаешь, что все-таки ты ирландец, а не из этих красномундирных.

– Разумеется, признаю.

– А ты не думаешь, что всякий ирландец, достойный этого имени, должен уметь объясняться на родном языке?

– Право, не знаю.

– А ты не думаешь, что мы, как народ, имеем право быть свободными?

– Знаешь, Мэдден, не задавай мне таких вопросов. Ты можешь выражаться лозунгами, но я не могу.

– Но все-таки, человеке, должны же у тебя быть какие-то политические взгляды!

– Мне еще нужно их продумать. Я художник, ты же знаешь это. Ты веришь, что я художник?

– О да, я знаю это.

– Отлично, но тогда какого дьявола ты от меня ждешь, чтобы я разрешил все вопросы одним махом? Дай мне время.

Так было решено, что Стивен начнет ходить на курсы ирландского языка. Он купил учебники О'Трони начального уровня, изданные Гэльской Лигой, но отказался платить вступительный взнос в эту лигу и носить ее значок в петлице. Он разыскал что хотел, а именно ту группу, в которой была мисс Клери. Домашние не стали возражать против его новой причуды. Мистер Кейси научил его нескольким южным песням по-ирландски и, чокаясь со Стивеном, всегда говорил «Шинн Фейн» вместо «Ваше здоровье». Миссис Дедал, по всей вероятности, была довольна, поскольку надеялась, что бдительному надзору священников и компании безобидных энтузиастов удастся в конце концов наставить ее сына на путь истинный: она уже начала за него бояться. Морис ничего не сказал и не стал спрашивать ни о чем. Он не понимал, что заставило его брата примкнуть к патриотам, и не верил, что Стивен находит для себя хоть какую-то пользу в изучении ирландского; однако выжидал молча. Мистер Дедал сказал, что он не против того, чтобы его сын изучал язык, покуда это не отвлекает его от основных занятий.

Однажды вечером, придя из школы, Морис принес весть, что через три дня начнется говение. Эта внезапно услышанная новость разом показала Стивену его состояние. Он едва мог поверить, что за протекший год его взгляды так неузнаваемо изменились. Всего лишь двенадцать месяцев назад он молил о прощении грехов и давал обеты бесконечного раскаяния. Он едва мог поверить, что это он, а не кто-то другой так истово стремился к тому единственному средству спасения, какое Церковь дарует своим грешным чадам. Он изумлялся тому ужасу, который охватывал его тогда. Однажды вечером во время говения он спросил брата, о чем сейчас читает проповеди священник. Они стояли у витрины писчебумажного магазина, и Стивена подтолкнула задать вопрос картинка в витрине, изображавшая святого Антония. Весь расплывшись в улыбке, Морис ответил:

– Сегодня про ад.

– И в каком духе проповедь?

– В обычном. С утра вонь, а вечером боль.

Рассмеявшись, Стивен взглянул на коренастую фигуру подростка рядом с собой. Морис возвещал факты сухим и саркастическим тоном, и сумрачное лицо его не менялось в цвете, когда он смеялся. При виде его Стивену вспоминались иллюстрации к «Сайлесу Верни». Его мрачная серьезность, старательная вычищенность сильно поношенного платья, вид преждевременного разочарования – все это вызывало мысль о некой духовной или философской проблеме, пересаженной из Голландии и принявшей человеческое обличье. Стивен не знал, на какой стадии пребывает проблема, и полагал, что будет мудрей дать ей решиться своим путем.

– А знаешь, что еще священник сказал? – спросил Морис, помолчав.

– Что?

– Он сказал, что мы не должны иметь спутников.

– Спутников?

– «Что мы не должны по вечерам гулять ни с каким постоянным спутником. Если мы хотим прогуляться, так он сказал, то надо сразу несколькими идти вместе».

Стивен остановился посреди улицы и прихлопнул в ладоши.

– Что это с тобой? – спросил Морис.

– Я знаю, что это с ними, – ответил Стивен. – Они боятся.

– Конечно боятся, – подтвердил Морис хмуро.

– Ну а ты, кстати сказать, конечно, говеешь по всей форме?

– Ну да. Я буду причащаться завтра утром.

– Неужто?

– Скажи правду, Стивен. Когда тебе мать по воскресеньям дает деньги, чтобы пойти к малой полуденной мессе на Мальборо-стрит, ты в самом деле ходишь к мессе?

Стивен слегка покраснел:

– Почему ты об этом спрашиваешь?

– Скажи правду.

– Нет... не хожу.

– А куда ты ходишь?

– Да повсюду... по городу.

– Так я и думал.

– Смышленный парень, – произнес Стивен как бы в сторону. – А могу я спросить, ходишь ли ты сам к мессе?

– Да, хожу, – ответил Морис.

[Затем] Некоторое время они шли молча. Потом Морис сказал:

– Я плохо слышу.

Стивен никак не отозвался.

– И по-моему, я слегка глуповат.

– То есть?

В глубине души Стивен чувствовал, что он осуждает брата. В эту минуту он не мог счесть желательной свободу от давящих влияний религии. Ему казалось, что всякий, кто способен так прозаически смотреть на свои душевные состояния, недостоин свободы и годен только для жесточайших «оков Церкви».

– Понимаешь, священник нам рассказал сегодня одну подлинную историю, про смерть пьяницы. Патер пришел к нему, начал с ним говорить и предложил – пусть тот скажет, что он обо всем жалеет и пьянство свое обещает бросить. Тот чувствовал уже, что ему вот-вот конец, но уселся в постели прямо, так священник сказал, и откуда-то из-под одеяла вытаскивает черную бутылку...

– Ну и?

– ...и говорит: «Отче, если вот эта последняя, которую мне суждено выпить на этом свете, так я ее должен выпить».

– Ну и?

– И до дна ее осушает. И в ту же минуту упал мертвым, говорит священник, понизив голос. «Этот человек рухнул мертвым в своей постели, он рухнул трупом. Он умер и отправился...» Он говорил так тихо, что мне было не слышно, а я хотел знать, куда отправился этот человек, и я поэтому нагнулся вперед, прислушиваясь, и бац! – ударился носом о переднюю скамейку. А пока я тер нос, все уже начали становиться на колени к молитве, и я так и не узнал, куда он отправился. Разве не глупо?

Стивен расхохотался. Он хохотал так громко и заразительно, что прохожие оборачивались на него и начинали улыбаться в ответ. Он упер руки в боки, и из глаз его текли слезы. При каждом взгляде на смугловатое строго-торжественное лицо Мориса его разбирал новый приступ хохота. В промежутках он только мог выговорить – «Я бы все отдал, чтоб поглядеть – „Отче, если эта последняя...“ – и ты с разинутым ртом. Все бы отдал, чтоб поглядеть».

Уроки ирландского проходили по средам вечером в доме на О'Коннелл-стрит, в одной из задних комнат на третьем этаже. В группе были шестеро юношей и три девушки. Преподавателем был молодой человек в очках с весьма болезненным выражением на лице и весьма искривленным ртом. Говорил он высоким голосом с резким северным акцентом. Он никогда не упускал случая поиздеваться над шонизмом и над теми, кто не желает изучать свой родной язык. Он говорил, что бьюрла¹⁵ – язык торговли, а ирландский – глагол души, и имел две дежурные остроты, неизменно вызывавшие смех. Одна из них была «Всемогущий доллар», а другая – «Высокодуховный англосакс». Все считали мистера Хьюза великим энтузиастом, а некоторые верили, что его ждет карьера великого оратора. Вечерами по пятницам, когда Лига устраивала общественные собрания, он часто брал слово, но, не владея достаточно ирландским, всегда извинялся в начале речи, что будет обращаться к слушателям на языке [бравых] «высокодуховных англосаксов». Каждую речь он всегда заканчивал какой-нибудь стихотворной цитатой. Он осыпал саркастическими нападкамии Тринити-колледж и Ирландскую парламентскую партию. Он не мог считать патриотами людей, которые принесли присягу на верность королеве Англии, и не мог считать национальным университетом учреждение, где не выражаются религиозные верования большинства ирландского народа. Его речам всегда громко аплодировали, и Стивен слышал, как некоторые в зале выражали уверенность, что он имел бы огромный успех в суде. Наведя справки о Хьюзе, Стивен узнал, что его отец – стряпчий националистических взглядов, живущий в Армахе, а сам он изучает право в Кингс-Иннс.

Уроки, которые посещал Стивен, происходили в очень скудно меблированной комнате, освещавшейся [с помощью] газовым рожком с треснувшим абажуром. Над стойкой камина висел портрет священника с бородой, которым и был отец О'Грони, как узнал Стивен. То были курсы для начинающих, и продвижение сильно замедлялось из-за тупости двух юношей. Другие же схватывали все быстро и трудились прилежно. Для Стивена оказалось весьма [тяжело] затруднительно произносить гуттуральные, однако он старался как мог. Вся группа настроена была чрезвычайно серьезно и патриотично. Единственный случай, когда Стивен мог наблюдать у них некоторое легкомыслие, был на уроке, где их познакомили со словом «gradh». Три девушки начали смеяться, а с ними и двое тупых юношей, увидев что-то очень забавное то ли в ирландском слове, обозначающем любовь, то ли в самом этом понятии. Но мистер Хьюз, трое остальных юношей и Стивен сохраняли полную серьезность. Когда возбужденность улеглась, внимание Стивена привлек младший из двух тупиц, который еще оставался весь раскрасневшимся. Румянец у него не сходил так долго, что Стивену даже стало не по себе. «Юношу это все больше и больше смущало, но самое худшее было в том, что все это смущение существо-

¹⁵ Английский язык (*ирл.*).

вало лишь для него одного, поскольку никто, кроме Стивена, ничего ровно не замечал. Так продолжалось с ним до конца урока: он ни разу не посмел поднять взгляд от книги, а когда ему понадобился носовой платок, он его достал и пользовался им украдкой, левой рукой».

Собрания по пятницам были открытыми, и в большой мере на них верховодили священники. Организаторы сообщали вести из разных областей страны, а священники произносили наставительные речи. Затем призывали двух молодых людей, которые исполняли песни на ирландском языке, а когда наступало время расходиться, все вставали и пели Песнь Единства. После этого молодые дамы принимались судачить между собой, а их кавалеры помогали им надеть жакеты. Завсегдатаем собраний был на редкость крепкий и плотный чернобородый гражданин, который всегда носил широкополую фетровую шляпу и длинный ярко-зеленый шарф. Когда все шли домой, его обычно видели в окружении молодых людей, казавшихся худосочными на фоне его туши. Голос у него был необычайно зычный, и можно было слышать издалека, как он без усталости клеймит, хулит и шельмует. Его кружок был центром сепаратизма, и там царил дух непримиримости. Штаб-квартирой кружка была табачная лавка Куни, где его члены по вечерам устраивали заседания «дивана», с жаром разглагольствуя по-ирландски и покуривая глиняные трубки. Мэдден, который был капитаном клуба игроков в хэрлинг, докладывал этому кружку о физической форме юных непримиримых, состоявших под его попечением, а редактор еженедельника партии непримиримых докладывал обо всех знаках филокельтизма, какие ему удалось отыскать в парижских газетах.

Для всего этого общества свобода была венцом стремлений; все они были ярыми демократами. Свобода, которой они желали для себя, была главным образом свободой в одежде и в языке; и Стивен с трудом представлял себе, как столь жалкое чучело свободы могло стать [для них] предметом коленопреклоненного культа серьезных человеческих существ. Если у Дэниэлов он наблюдал, как люди разыгрывают из себя важных персон, то здесь он видел, как из себя разыгрывают свободных людей. Он видел, что множество нелепостей в сфере политики возникает из-за того, что у общественных деятелей отсутствует верное чувство сравнения. Ораторы этой патриотической партии могли, не устыдясь, говорить о прецедентах Швейцарии и Франции. Умственные центры движения были так плохо осведомлены, что те аналогии, которые они выдавали за точные и доказательные, на поверку случались выдвинутыми по чистому произволу, на базе самых неточных сведений. Выкрик одиночки-француза (*À bas l'Angleterre!*) на собрании Кельтского объединения в Париже эти энтузиасты могли раздуть в тему для передовой статьи, где бы доказывалась вернейшая перспектива помощи Ирландии со стороны французского правительства. Блестящим примером для Ирландии выставляли случай Венгрии, случай, в котором, согласно воображению патриотов, многострадальное меньшинство, по всем принципам расы и справедливости достойное независимости и свободы, наконец достигало освобождения. В подражание этому успеху кучки юных кельтов устраивали в Феникс-парке кровавые сражения здоровенными клюшками для хэрлинга, с утроенной силой бросаясь в праведный бой, поскольку их революцию благословил сам Помазанный; и эти кучки начинали пылать негодованием, стоило появиться среди них какому-нибудь незваному молодому скептику, кому известно было об успешных нападениях мадьяр на романские, тевтонские и славянские народы, превосходившие их числом и бывшие их политическими союзниками, а также о том, что один пехотный полк может держать в повиновении город с двадцатитысячным населением.

Однажды Стивен сказал Мэддену:

– Я полагаю, эти игры в хэрлинг и туристические походы – приготовления к неким великим событиям.

– В Ирландии сейчас происходит больше, чем тебе известно.

– Но к чему вам клюшки?

– Ну, понимаешь, мы хотим улучшить физические данные нашего народа.

После минутного раздумья Стивен сказал:

- Мне кажется, английское правительство вам в этом оказывает большую услугу.
- Каким это образом, позволю спросить?
- Английское правительство каждое лето отправляет вас группами в лагеря территориальной милиции, обучает пользованию современным оружием, муштрует, кормит вас, платит вам, а затем по окончании маневров отправляет домой.
- Ну и что же?
- Может, для ваших юношей это было бы полезней, чем драки на клюшках в парке?
- Ты что же, хочешь сказать, что, по-твоему, молодежь из Лиги должна надеть красный мундир, принести присягу верности королеве и принимать еще этот шиллинг?
- Взгляни на своего друга Хьюза.
- А при чем тут он?
- В один прекрасный день он будет адвокатом, советником Короны, может быть, и судьей
- и при всем том он издевается над парламентской партией за то, что они приносят присягу.
- По всему миру закон есть закон – кто-то должен контролировать его исполнение, особенно здесь, где у народа нет друзей в судах.
- Точно так же пуля есть пуля. Я не улавливаю, какое различие ты проводишь между отправлением английских законов и отправлением английских пуль: в обеих профессиях принимают ту же присягу.
- При любых обстоятельствах человеку лучше следовать правилам, которые цивилизация признает гуманными. Лучше быть адвокатом, чем красномундирным.
- Ты считаешь военное ремесло позорным. Так почему же тогда у вас клубы имени Сарсфилда, имени Хью О'Нила, имени Хью Рыжего?
- О, биться за свободу – совсем другое. Но поступать на службу к своему угнетателю, делаться рабом его – это низость.
- А скажи тогда, сколько в вашей Лиге таких, кто учится для гражданской службы и намерен делать чиновничью карьеру?
- Это другое дело. Они всего лишь гражданские чиновники, а не...
- Какая, к черту, разница, что гражданские! Они присягают правительству и получают от него жалованье.
- Ну конечно, если тебе угодно так на это смотреть...
- А у скольких членов Лиги найдутся родичи в полиции или жандармерии? Даже мне известен десяток твоих друзей, [которые] у кого отцы – полицейские инспекторы.
- Несправедливо обвинять человека за то, что его отец был тем-то и тем-то. У сына и отца сплошь и рядом разные взгляды.
- Но ирландцы любят хвалиться верностью традициям своей юности. «Как все вы, парни, верны Матери Церкви! Почему бы вам не хранить такую же верность традиции боевого шлема, как традиции тонзуры?»
- Мы храним верность Церкви потому, что это наша национальная церковь, та церковь, за которую наш народ страдал и готов снова пострадать. Полиция – другое дело. Мы смотрим на них как на чужаков, предателей, притеснителей народа.
- Старик-крестьянин в деревенской глуши, как видно, другого мнения, когда он пересчитывает свои замусоленные бумажки и приговаривает: «Тома отдам в попы, а Микки – в фараоны».
- Полагаю, ты эту фразу услышал в какой-нибудь пьеске про опереточных ирландцев. Это клевета на наших соплеменников.
- Ну нет уж, это и есть ирландская крестьянская мудрость: он прикидывает на одной чашке весов попа, на другой полисмена, и все отлично уравнивается, потому как оба завидной корпуленции. Система противовесов!

– Последний британчик¹⁶ не станет так чернить своих земляков. Ты просто повторяешь лживые избитые штампы – ирландец-пьяница, ирландец с физиономией павиана, как изображают в «Панче».

– То, что я говорю, я вижу вокруг меня. Трактирщики и ростовщики, что наживаются на народной нищете, тратят некую часть доходов, чтобы пристроить своих сыновей и дочек в религию, а те бы за них молились. Один из твоих профессоров, который тебе преподает на медицинском факультете санитарии или судебную медицину или что-то такое, Бог его знает что, он в то же время владелец целой улицы борделей, меньше чем в миле вот отсюда, где мы стоим.

– Кто тебе это сказал?

– Сорока на хвосте принесла.

– Это ложь!

– Да, это противоречие в терминах, или то, что я называю систематической компенсацией.

Не все разговоры Стивена с патриотами были в столь резком духе. Каждую пятницу он встречался по вечерам с мисс Клери, или же – поскольку он вернулся-таки к имени – с Эммой. Она жила возле Портобелло, и в те вечера, когда собрание заканчивалось пораньше, отправлялась домой пешком. Часто она подолгу задерживалась, беседуя с невысоким молодым священником, отцом Мораном, у которого были выразительные темные глаза и выющаяся ухоженная шевелюра черных волос. Молодой патер играл на пианино, исполнял сентиментальные песни и по многим основаниям пользовался успехом у дам. Стивен часто наблюдал за Эммой и отцом Мораном. Однажды отец Моран, у которого был тенор, сделал Стивену комплимент, сказав, что он от многих слышал лестные отзывы о его голосе и надеется когда-нибудь иметь удовольствие его услышать. Стивен повторил то же самое священнику, добавив, что мисс Клери отзывалась самым высоким образом о *его* голосе. В ответ патер улыбнулся и поглядел лукаво на Стивена. «Не надо верить всем похвалам, которые мы слышим от дам, – сказал он. – Дамы всегда немножко склонны – как бы тут выразиться – склонны привирать, я боюсь». Тут патер слегка прикусил свою розовую нижнюю губу двумя маленькими белыми ровными зубами, его выразительные глаза улыбнулись, и со всем этим он принял вид такого обаятельно-вульгарного сердцееда, что Стивену захотелось хлопнуть его по спине в знак восхищения. Стивен продолжал разговор еще несколько минут, и как только дело коснулось ирландских тем, священник необычайно посерьезнел и сказал очень набожно: «О да. «Благослови Господь сей труд!» «Отец Моран не был любителем старых монотонных песнопений, заявил он Стивену. Разумеется, сказал он, это очень величественная музыка музыка сурового стиля [sic]. Но он был того мнения, что не следует делать Церковь чересчур мрачной, и с обаятельной улыбкой заметил, что дух Церкви вовсе не мрачен. Он сказал, что нельзя ожидать от людей особой симпатии к суровой музыке и что люди нуждаются в более человеческой религиозной музыке, чем грегорианские хоралы, в завершение порекомендовав Стивену разучить «Град священный» Адамса.

– Вот вам прекрасная песня, с чудесной мелодией и в то же время религиозная. Тут есть религиозное чувство, волнующая «мелодия, сила – одним словом, душа».

Когда Стивен видел этого молодого священника рядом с Эммой, он обычно приходил в состояние некоего неистовства. И дело было скорей не в том, что он лично страдал; в большей степени зрелище казалось ему примером вечной ирландской несостоятельности. Зачастую он чувствовал, что руки у него так и чешутся. Взор отца Морана был столь ясным и нежным, и Эмма стояла пред этим взором в позе такой вызывающей и самозабвенной «гордости плоти», что Стивена неудержимо тянуло толкнуть их в объятия друг друга, шокируя общество

¹⁶ В оригинале West-Briton, «западный британец» – одна из множества презрительных кличек ирландских приспешников англичан.

и пренебрегая болью, которую, как он знал, причинит ему это безличное великодушие. Эмма несколько раз позволила ему проводить себя до дома, но вовсе не создавала впечатления, что она сохраняет свое общество лишь для него. Юноша был задет этим, ибо больше всего ему было невыносимо, когда его ставили на одну доску с другими и, если бы только ее тело не представлялось ему столь полным наслаждения, он бы предпочел оказаться унижительно отвергнутым. Ее шумная наигранная манера вначале шокировала его, пока его ум не раскусил до конца всю глупость ее ума. Она очень резко критиковала барышень Дэниэл, предполагая, к большому неудовольствию Стивена, что и он настроен к ним так же. С рассчитанным кокетством она вопрошала Стивена, не может ли он уговорить ректора своего колледжа принимать туда женщин. Стивен предложил ей обратиться к Макканну, великому защитнику женщин. Она рассмеялась на это и сказала с искренним беспокойством: «Слушайте, откровенно говоря, какой жутковатый персонаж!» Она смотрела чисто по-женски на все, что молодым людям полагается считать серьезным, но из вежливости делала исключения для самого Стивена и для Гэльского Возрождения. Она спросила, не собирается ли он читать доклад и о чем там будет. Она бы все отдала за то, чтобы прийти послушать его и она сама просто без ума от театра и однажды цыганка гадала ей по руке и нагадала, что она будет актрисой. Она три раза ходила на пантомиму и спросила Стивена, что ему больше всего нравится в пантомиме. Стивен ответил, что ему нравятся хорошие клоуны, но она сказала, что предпочитает балет. Потом она захотела узнать, часто ли он ходит на танцы, и начала его убеждать записаться в кружок ирландских танцев, который она посещала. Глаза ее начали «копировать выражение» патера Морана – выражение нежной многозначительности в моменты, когда разговор опускался на самое дно банальности. Нередко, идя рядом с ней, Стивен раздумывал, чем она занималась со времени их последней встречи, и поздравлял себя с тем, что успел схватить впечатление от нее в ее прекраснейший миг. В глубине души он оплакивал перемену в ней, ибо ничто сейчас не было бы ему так желанно, как роман с нею; но он сознавал, что даже это полное и теплое тело едва ли сможет полностью заслонить для него ее удручающую развязность и мещанское жеманство. Ему казалось, что он различил в глубине ее отношения к нему некую импульсивную недоброжелательность, и он думал, что понял и ее причину. Он отправил эпизод в память, фигуру и пейзаж в камеру сокровищ и, поколдовав со всеми тремя, произвел на свет несколько страниц «убогих стихов». Однажды, дождливым вечером, когда улицы были непригодны для прогулок, она села у Колонны на трамвай в сторону Рэтмайнса и, стоя на подножке, протянула руку ему, благодаря за любезность и прощаясь. И в тот же миг тот эпизод их детства с магнетической силой возник в уме у обоих. Перемена обстоятельств заставила их поменяться местами и теперь верх был за нею. Он взял ее за руку, лаская, ласково поглаживая один за другим три шва на тыльной стороне ее лайковой перчатки, пересчитывая костяшки пальчиков, лаская и собственное прошлое, к которому сей непоследовательный ненавистник [традиций] наследий всегда питал благосклонность. Они улыбнулись друг другу; и вновь в глубине ее дружелюбия он различил [момент] недоброжелательность, и родилось подозрение, что по своему кодексу чести она обязана была настаивать на сдержанности мужчины и презирать его за сдержанность.

XVIII

Доклад Стивена был назначен на вторую субботу марта. От Рождества и до этой даты у него оказалось поэтому обширное пространство времени для приготовительных воздержаний. Сорокадневный пост его проходил в бесцельных одиноких прогулках, во время которых он оттачивал свои фразы. Таким путем весь доклад, «с первого до последнего слова» был готов у него в уме, прежде чем он занес на бумагу хотя бы строчку. Он обнаружил, что «сидячая поза весьма мешает» и думать, и строить форму доклада. Его тело докучало ему, и он выработал надлежащие средства его умиротворения неспешными променадами. Порой во время своих прогулок он терял нить мысли, и всякий раз, когда пустота ума казалась непреодолимой, он принуждал его к порядку яростными рывками. На утренних прогулках работала критическая мысль, на вечерних – воображение, и все, что вечером казалось достоверным, при свете дня подвергалось беспощадному разбору. Об этих блужданиях в пустыне из разных источников поступали репортажи, и однажды мистер Дедал спросил сына, какого черта его занесло в «Долфинс-Барн.» Стивен ответил, что он провожал часть пути до дома одного приятеля из колледжа, и мистер Дедал на это заметил, что, как пить дать, приятель из колледжа [должно быть] отыскал себе жилье где-нибудь этак в графстве Мит. Любим знакомым, что попадались во время прогулок, никоим образом не дозволялось вторгаться в мыслительный процесс молодого человека пошлыми разговорами – и казалось, они заранее все признали этот порядок, ограничиваясь почтительным приветствием. Поэтому Стивен был весьма удивлен, когда однажды вечером, проходя мимо школы Христианских Братьев на Северной Ричмонд-стрит, он вдруг почувствовал, как его ухватили под руку сзади и чей-то голос довольно грубовато воскликнул:

– Привет, старина Дедал, это ты?

Стивен обернулся и увидел высокого молодого человека со многими следами прыщей на лице, одетого с головы до ног в черное. Минуту он глядел на него, пытаясь вспомнить лицо.

– Ты что, не помнишь меня? А я сразу тебя узнал.

– Ну да, теперь вспоминаю, – сказал Стивен. – Но ты изменился.

– Ты так считаешь?

– Я б не узнал тебя... А ты... в трауре?

Уэллс рассмеялся:

– Ей-ей, недурная шутка. Тебе явно неизвестно, как выглядит твоя Церковь.

– Что? Не хочешь ли ты сказать...?

– Истинный факт, старина. Я нынче в Клонлиффе. Сегодня отпустили в Балбригган: с начальником совсем худо. Бедный старикан!

– Понимаю!

– Мне Боланд сказал, ты в Грине сейчас. Знаешь его? Он говорит, вы с ним были вместе в Бельведере.

– А он что, тоже? Да, я с ним знаком.

– Он, знаешь, такого о тебе мнения! Говорит, ты теперь литератор.

Стивен улыбнулся, не ведая, на какую тему дальше переходить. Он спрашивал себя, как далеко этот семинарист с зычным голосом вознамерился идти с ним.

– Ты не проводишь меня слегка, ладно? Я только что с поезда, с вокзала на Эмьенс-стрит. Направляюсь обедать.

– Да-да, конечно.

Итак, они продолжали путь рядом.

– Ну а с тобой что же делалось? Я так думаю, вел приятную жизнь? Все там, в Брэе?

– Да все как обычно, – ответил Стивен.

– Знаю-знаю. За девочками по набережной, небось? Пустое дело, старина, дело пустое! Надоедает.

– Тебе явно надоело.

– Пожалуй; да и время к тому же... Видишь кого-нибудь из Клонгоуза?

– Никого.

– Так вот и получается. Разъехались и растерялись из вида. Помнишь Рэта?

– Да, помню.

– Он нынче в Австралии – овец пасет или что-то вроде того. А ты собираешься в литературу, наверно?

– Не знаю, правду сказать, куда я собираюсь.

– Знаю-знаю. Загулял, небось? «Такое и со мной было.»

– Ну не совсем так... – начал Стивен.

– Да-да, ясное дело, не совсем! – перебил Уэллс с громким смехом.

Идя по Джонс-роуд, они увидели броскую, в кричащих красках, афишу какой-то мелодрамы. Уэллс спросил Стивена, читал ли он «Трильби».

– Не читал? Знаменитая книга, понимаешь, и стиль бы тебе подошел, я думаю. Конечно, она немного того... скользкая.

– То есть?

– Ну, понимаешь, там... Париж, понимаешь... художники.

– А, так это такого сорта?

– Ничего уж особенно дурного я там не увидел. Но все-таки некоторые считают, она грешит по части морали.

– У вас-то в Клонлиффе ее нет в библиотеке?

– Какое там... Ох, как мне не терпится из этой лавочки!

– Подумываешь уйти?

– На следующий год – а может и в этом – поеду в Париж изучать богословие.

– Думаю, ты об этом не пожалеешь.

– Не говори. Тут уж такая гнилая лавочка. Кормят еще неплохо, но до того скучища, ты понимаешь.

– А много сейчас тут учится?

– Да, порядком... Я, понимаешь ли, не сильно с ними общаюсь... Порядком их тут.

– В один прекрасный день ты будешь приходским священником, надо думать.

– Надеюсь. Когда буду, обязательно приходи проведать.

– Хорошо.

– А ты сам тогда будешь великим писателем – напишешь вторую «Трильби» или в этом духе... Не зайдешь?

– А разрешается?

– Ну, со мной... входи, не смущайся.

Двое молодых людей вошли на территорию колледжа и двинулись по кольцевому проезду для экипажей. Стоял уж вечер, было сыро и сумрачно. В уходящем свете виднелись фигуры нескольких сорвиголов, что как оголтелые гоняли в гандбол в боковой короткой аллее, и плюханья мокрого мяча о стенку бетона в конце аллеи чередовались с их неистовыми криками. Большой же частью семинаристы малыми группками гуляли по парку, скуфейки у некоторых были сдвинуты на самый затылок, а некоторые ходили с высоко подобранными сутанами – так женщины подбирают юбки, пересекая грязную улицу.

– Вам можно гулять кто с кем хочет? – спросил Стивен.

– «Гулять парами не разрешается.» Ты должен ходить с первой компанией, какую встретишь.

– А почему ты не вступил в орден иезуитов?

– Еще чего, милый мой! Шестнадцать лет в послушниках и никаких шансов когда-нибудь осесть прочно. Сегодня здесь, завтра там.

Глядя на массивный каменный куб, вздымавшийся перед ними в угасающем свете дня, Стивен вновь мысленно входил в жизнь семинариста, которой он жил столько лет и в пониманье расписанного круга дел которой он мог без труда проникнуть сейчас острым сознанием участливого постороннего. Воинственный дух ирландской церкви был узнаваем для него с первого взгляда в стиле этих церковных казарм. Он тщетно искал печати нравственной высоты на лицах и фигурах тех, кто проходил мимо: вид у всех был прибитый, но без смирения, модничающий, но без простоты манер. Некоторые семинаристы приветствовали Уэллса, но знаки признательности в ответ на любезный жест были весьма скудны. Уэллс хотел создать у Стивена впечатление, что он презирает своих соучеников, но те помимо его желаний считают его важной персоной. У подножия каменных ступеней он обернулся к Стивену:

– Мне надо зайти к декану на минуту. Боюсь, уже слишком поздно, чтобы я мог тебе показать всю эту лавочку сейчас...

– О, ничего страшного. В другой раз.

– Ладно, так ты подожди меня. Пройдись вон туда, к часовне. Я мигом.

Он кивнул Стивену, на время прощаясь, и пустился прыжками вверх по ступенькам. [Уэллс] Стивен побрел к часовне, задумчиво поддавая ногой плоский белый камушек по серой гравиевой дорожке. Словам Уэллса не удалось ввести его в заблуждение, он не мог принять этого юношу за глубоко порочную личность. Стивен знал, что Уэллс нарочито важничает, пытаясь скрыть то чувство горького унижения, что вызвала у него встреча с человеком, который не отрекся от мира, плоти и дьявола, и он подозревал, что, если б в душе этого семинариста с вольною речью возникла хотя бы тень колебаний, Церковь властно вмешалась бы, чтобы восстановить стабильность железною рукой дисциплины. Одновременно Стивен чувствовал известное возмущение тем, что кто-то мог от него ожидать, будто он станет поверять свои духовные проблемы подобному духовнику или благоговейно принимать таинства и благословение от рук молодых семинаристов, которых он видел тут гуляющими по парку. И не какая-то личная гордыня препятствовала бы в этом ему, а понимание несовместимости двух натур, из коих одна приучена к насильственному внедрению некой догмы, другая же наделена зрением, угол которого никогда не приспособить к восприятию галлюцинаций, и разумом, который равно влюблен в смех и в битву.

Вечерний туман сгущался в тонкую пелену дождя, и Стивен приостановился в конце узкой тропинки возле лаврового кустарника, вглядываясь, как на кончике листа образуется, поблескивая, крохотная дождевая точка, как она нерешительно колеблется и как, в конце концов, срываясь, ныряет вниз в размокшую глину. Он подумал о том, идет ли сейчас дождь в Вестмите [где коровы стоят терпеливо, скучившись под прикрытием стогов]. Ему припомнилось, как он видел коров, стоящих терпеливо в своих загонах, сгрудившись и резко смердя под дождем. По другую сторону кустарника прошла небольшая компания семинаристов, они беседовали:

– А ты видел миссис Бергин?

– О да, видел... в этом черно-белом боа.

– И обе мисс Кеннеди там были.

– Где?

– Прямо за креслом архиепископа.

– А, я ее тоже видел – одну из них. У нее серая шляпа с птичкой?

– Точно, это она! Вид настоящей леди, правда же?

Компания прошла дальше по тропинке. Через несколько минут за кустами проследовала другая. Один из семинаристов рассказывал, остальные слушали:

– Да, и к тому же он астроном; поэтому у него и [построена] была эта обсерватория, которую он построил рядом с дворцом. При мне как-то один священник сказал, что три самых великих человека в Европе, во всех отношениях великих, это Гладстон, Бисмарк (великий государственный муж у немцев) и наш архиепископ. Он его знал в Мануте. Он рассказывал, что в Мануте...

Хруст гравия под тяжелыми башмаками заглушил слова говорящего. Дождь распространялся, усиливался, и бродившие по парку кучки семинаристов одна за другой направлялись к дому. Стивен продолжал ждать на своем посту и наконец увидел, как по тропинке торопливо приближается Уэллс, сменивший уже на сутану свое городское платье. Он принялся усиленно извиняться, а фамильярность его манер заметно утратилась. Стивен предложил ему возвращаться под крышу вместе с другими, но он непременно желал проводить своего гостя до ворот. Они срезали путь, пройдя вдоль стены, и вскоре оказались перед сторожкой. [Ворота] Боковые ворота были закрыты, и Уэллс громко крикнул привратнице, чтобы та открыла их и выпустила джентльмена. Затем он пожал руку Стивену и пригласил его заходить еще. Привратница открыла ворота, и секунду-другую Уэллс смотрел через них на улицу почти с завистью. Потом он сказал:

– Ну что ж, старина, до встречи. Надо бежать. Страшно рад повидаться – и с тобой, и со всяким из старой команды, понимаешь ли, из Клонгоуза. Счастливо, я побежал. Всего тебе.

В мрачных сумерках, высоко подоткнув сутану и торопливо, неуклюже шлепая к проезжей дороге, он «выглядел каким-то странным беглецом, быть может, даже преступником.» Проводив взглядом бегущую фигуру, Стивен вышел через калитку на освещенную фонарями улицу – и улыбнулся своему импульсу жалости.

Конец Второго Эпизода V¹⁷

Он улыбнулся, потому что она показалась ему в себе настолько неожиданной зрелостью – эта жалость – или, скорей, этот импульс жалости, ведь он всего лишь дал ей приют в себе. Но, безусловно, столь зрелое наслаждение, как чувство жалости к другому, стало ему доступно благодаря его работе над докладом. Стивену во многих вещах была свойственна дотошность: его доклад ни в какой мере не был демонстрацией культурных достижений. Напротив, он самым серьезным образом был намерен определить в нем для себя собственные позиции. Он не мог убедить себя, будто может выйти что-нибудь путное, если он опишет свой предмет обтекаемо и легко или станет рассматривать его в свете какого-либо впечатления. С другой стороны, он был убежден, что никто не сослужил бы лучшую службу поколению, к которому ему довелось принадлежать, нежели тот, кто своим искусством или своею жизнью явил бы этому поколению дар уверенности и достоверности. Программа патриотов внушала Стивену вполне резонные сомнения; ее тезисы не могли пройти апробацию его разума. Притом он знал, что сообразоваться с нею значило бы для него подчинить ее интересам все без остатка, и он был бы вынужден тем самым замутить родники своей мысли у самых истоков их. Вследствие этого он решил не браться ни за какое предприятие, в котором условием успеха была присяга на верность отечеству, и такое решение привело к появлению теории искусства, что была одновременно строгой и лишенной предвзятости. В основном его эстетика была не что иное, как «прикладной Аквинат,» и он излагал ее напрямик, с наивным видом первооткрывателя. Он делал так, отчасти потакая своей слабости к загадочным ролям, а отчасти из органической предрасположенности ко всему в «схоластике, кроме исходных посылок. Он провозглашал с порога, что искусство есть преобразование человеком чувственных или умственных предметов с эстетической целью, и далее объявлял, что все подобные преобразования должны подразделяться на три естественных рода: лирические, эпические и драматические. Лирическое искусство, говорил

¹⁷ Надпись красным карандашом – позднейшая, ибо в рукописи нет разделяющего пространства.

он, есть искусство, в котором художник создает свой образ в непосредственном отношении к самому себе; эпическое искусство есть искусство, в котором художник создает свой образ в непосредственном отношении к себе и другим; а драматическое искусство – искусство, в котором художник создает свой образ в непосредственном отношении к другим.» В различных формах искусства, таких как музыка, скульптура, литература, это разделение выступает с разной отчетливостью, и он делал отсюда вывод, что наиболее совершенными следует называть те формы искусства, в которых данное разделение выражено наиболее отчетливо, причем его не слишком смущало, что он не мог для себя решить, принадлежит ли портрет к роду эпического искусства и может ли архитектор по своему желанию выступать в качестве эпического, лирического или драматического поэта. Утвердив подобным простым путем в качестве наиболее совершенной литературную форму искусства, он переходил к ее рассмотрению в свете своей теории или же, как он это формулировал, к установлению отношений, которые должны наличествовать между литературным образом, произведением искусства как таковым и тою энергией, что вообразила и сформировала его, тем центром сознательной, ре-активной и особой жизни: художником.

Художник, как представлялось Стивену, находясь в положении посредника меж миром своего опыта и миром своих мечтаний, – «посредник, наделенный тем самым двумя неразделимыми способностями, избирательной и воспроизводительной.» Тайна его успеха лежит в уравнении, связывающем эти две способности: художник, что способен бережнее всего высвободить нежную душу образа из путаницы окутывающих его обстоятельств и вновь «воплотить» ее в художественных обстоятельствах, избранных как самые адекватные ее новому служению, – вот высочайший художник. Это абсолютное совпадение двух художественных способностей Стивен называл поэзией, и вся область искусства воображалась ему в виде конуса. Термин «литература» теперь казался ему уничижительным словом, и он употреблял его для обозначения обширных срединных пространств между вершиной конуса и его основанием, между поэзией и хаосом незапоминаемой писанины. Достоинство литературы – в портретировании внешнего; владения ее князей – область нравов и обычаев общества, и область эта пространна. Но общество само по себе, рассуждал он, есть сложный организм, в котором действуют определенные замаскированные законы, а посему он объявлял владениями поэта область этих незыблемых законов. Такая теория легко могла бы привести своего изобретателя к приятию духовной анархии в литературе, если бы он не настаивал одновременно на классическом стиле. Классический стиль, заявлял он, это силлогизм искусства, единственный законный процесс перехода из одного мира в другой. Классицизм – это не манера, присущая некоторой определенной эпохе, определенной стране: это постоянная установка и склад художественного разума. Это – склад надежности, удовлетворенности и долготерпения. Романтический склад, столь часто понимаемый глубоко превратно, причем не столько его противниками, сколько сторонниками, выдает неудовлетворенный и неуверенный в себе, мятущийся дух, что не находит пристанища для своих идеалов и потому решает усматривать их в бессмысленных формах. Вследствие этого решения он начинает пренебрегать определенными границами. Созданные формы пускаются в необузданные похождения, не имея весомости твердых тел, и дух, что их породил, в конце концов отступает от них. С другой стороны, классический склад, всегда памятующий о границах, решает скорей опираться на вещи наличествующие, работать над ними и приводить их в такой вид, чтобы проворный разум мог проникнуть сквозь них к их смыслу, еще покуда не изреченному. Благодаря этому методу здоровый и радостный дух устремляется вперед и достигает нетленного совершенства, при благосклонном и признательном содействии природы. «Покуда нам отведено это место в природе, справедливо то, что искусство не должно учинять насилия над дарованием».

Оказавшись меж двумя спорящими школами, град искусств замечательным образом лишился мира. Для многих зрителей спор этот представлялся спором о словах, такую битвой,

в которой расположение знамен нельзя было предсказать ни на минуту вперед. Добавьте еще к этому междуусобицы – классическая школа сражалась против материализма, ей свойственного, романтическая же за сохранение осмысленности – и тогда вы узрите, из сколь неучтивых нравов зарождаются, как это вынуждена признать критика, все и всяческие достижения. Критик – это тот, кто способен, используя поданные художником знаки, приблизиться к духу, который создал произведение, и увидеть, что в произведении удалось и что оно означает. Для него песнь Шекспира, казалось бы столь же свободная и живая, далекая от умышленной цели, как краски вечера или шорох дождя в саду, не что иное, как ритмическая речь чувства, которое нельзя передать иначе – нельзя, по крайней мере, с такой же ладностью. Но приблизиться к духу, создавшему искусство, значит воздать ему почитание, и для этого сперва нужно отбросить много условностей, ибо никогда сокровеннейшая сфера не откроется тому, кто опутан сетями пошлости.

Главнейшей среди всех пошлостей Стивен объявил древний принцип, по которому назначение искусства – наставлять, возвышать и развлекать. «Я не в силах найти никаких следов этой пуританской концепции эстетической цели в данном Фомой Аквинским определении красоты, – писал он, – как равно и вообще во всем, что написал Фома о прекрасном. Те качества, каких он ожидает от красоты, на поверку носят столь отвлеченный и всеобщий характер, что даже самому ревностному его приверженцу невозможно использовать его теорию для нападок на какое бы то ни было произведение искусства, доставшееся нам из рук какого бы то ни было художника». Такое опознание прекрасного на основании самых абстрактных отношений, доставляемых предметом, к которому приложим сей термин, заведомо ничуть не подкрепляющее заповеди *Noli Tangere*, само являлось всего лишь оправданным следствием снятия с художника всех запретов. Границы приличия как-то слишком навязчиво заявляют о себе современному спекулятору и своим воздействием подвигают неискушенный ум выносить самые поверхностные приговоры. Ибо невозможно переусердствовать в упорном внушении обществу, что традиция искусства состоит в ведении художников, и даже если они не превращают нарушение границ приличий в свое постоянное занятие, общество не имеет права делать отсюда вывод, будто они не требуют для себя полнейшей свободы нарушить эти границы, как только сочтут нужным. Не менее абсурдно, писал сей пламенный революционер, для критики, которая сама замешана на гомилиях, воспрещать художнику в его *откровении* прекрасного свободный выбор своих путей, чем для полиции – воспрещать сумме двух сторон треугольника быть больше третьей стороны того.

In fine, истина состоит не в том, что художник требует от домовладельцев лицензии, позволяющей ему действовать тем или иным образом, но в том, что, напротив, каждая эпоха должна искать санкций на собственное существование у своих поэтов и философов. Поэт есть центр жизненных напряжений своей эпохи, и он пребывает в таком отношении к ней, что никакое иное отношение не может быть более существенным. Лишь он один способен вобрать в себя окружающую жизнь, чтобы затем вновь, среди музыки сфер, ее разметать окрест. Когда в небесах замечается новое поэтическое явление, восклицал сей в небеса возносящийся сочинитель, критикам настает время выверять по нему свои расчеты. Настает время для них убедиться в том, что здесь воображение истово созерцало истину бытия видимого мира и что свершилось рождение красоты, сияния истины. Наша эпоха, пускай она на целые сажени глубины уходит в царство машин и формул, испытывает нужду в этих реальностях, которые одни лишь дают и питают жизнь, и от этих избранных животворных центров она должна ждать жизненных сил и жизненной уверенности, ибо лишь отсюда могут они явиться. Так человеческий дух непрестанно утверждает себя.

За вычетом этих цветистых и дерзновенных глаголений, доклад Стивена был тщательным изложением тщательно продуманной эстетической теории. Когда он его закончил, ему показалось необходимым заменить название «Драма и жизнь» на «Искусство и жизнь», поскольку он

так погрузился в закладывание фундамента, что не оставил себе достаточно места для возведения всей постройки. Сей манифест, на удивление далекий от популярности, два брата прошли насквозь, от фразы к фразе и от слова к слову, в конце концов признав его безупречным до последней точки. Затем он был отправлен лежать спокойно, ожидая появления перед публикой. Кроме Мориса, с ним заранее ознакомились еще два доброжелателя: то были мать Стивена и его друг Мэдден. Мэдден не просил напрямую об этом, но в конце разговора, в котором Стивен саркастически описывал свой визит в семинарию Клонлифф, он неопределенно поинтересовался, каким же состоянием ума могли породиться подобные непочтительности; и в ответ Стивен тут же протянул ему рукопись со словами: «Это первое из моих подрывных средств». На следующий вечер Мэдден возвратил рукопись с самыми высокими похвалами. В отдельных местах, он сказал, это было для него чересчур глубоко, но он смог оценить, что доклад написан прекрасно.

– Знаешь, Стиви, – сказал он (у Мэддена был брат Стивен, и он порой пользовался этой фамильярной формой) ты мне всегда говорил, что я деревенский *buachail*¹⁸ и мне вашего брата, мистиков, не понять.

– Мистиков? – переспросил Стивен.

– Насчет там звезд, планет, понимаешь. В Лиге есть некоторые, кто входит в эту здешнюю мистическую команду. Они б живо поняли.

– Но тут никакой мистики, я тебя уверяю. Я так старательно писал...

– Да-да, я вижу. Так красиво написано. Но я уверен, до слушателей твоих это не дойдет.

– Но ты же не хочешь мне сказать, что это, по-твоему, одни «цветистости»?

– Я знаю, что ты это все продумал. Но ты же ведь поэт, правда?

– Я... писал стихи... если ты это имеешь в виду.

– А ты знаешь, что Хьюз тоже поэт?

– Хьюз!

– Да. Понимаешь, он для нашей газеты пишет. Не хочешь поглядеть на его стихи?

– Отчего ж нет, ты мне мог бы их показать?

– Так совпало, что одно стихотворение у меня с собой. А еще одно есть в «Мече»¹⁹ за эту неделю. Вот, прочти.

Взяв у него газету, Стивен прочел стихотворение под названием «*Mo Náire Tù*» («Ты – мой позор»). Здесь было четыре строфы, и каждая заканчивалась ирландской фразой «*Mo Náire Tù*», конец которой, разумеется, рифмовался с соответствующей английской строкой. Начинались эти стихи так:

Как! Гэльской речи нежный звук
Сменится саксов болтовней?

и далее строки, полные патриотической экзальтации, изливали презрение на тех ирландцев, что не желают изучать древний язык своего родного края. Стивен не нашел ничего примечательного в стихах, кроме частого употребления разговорных сжатых форм с заглаживанием согласной, и возвратил Мэддену газету без единого слова отзыва.

– Я думаю, это тебе не нравится, потому что слишком ирландское, но вот это должно, думаю, понравиться, потому что как раз в таком мистическом, идеалистическом духе, как вы все любите писать, поэты. Только не говори, что я тебе показал...

– Нет-нет.

¹⁸ Чурбан, неотесанный (*ирл.*).

¹⁹ Дублинский еженедельник на ирландском языке, с полным названием «Меч света» (*An Claidheamh Soluis*).

Мэдден извлек из внутреннего кармана сложенный вчетверо тетрадный листок, на котором было записано стихотворение из четырех восьмистиший под заглавием «Мой Идеал». Каждая строфа начиналась со слов: «Явь ли ты?» Здесь рассказывалось о бедствиях, пережитых поэтом в «юдоли скорби», о том, как эти бедствия «терзали сердце» его. Рассказывалось о «томительных ночах», о «днях тоски», а также о «неутолимой жажде» такого совершенства, какого «земля не в силах дать». После этого меланхолического идеализма в последней строфе приоткрывались возможности некой утешительной альтернативы скорбям поэта; строфа начиналась довольно обещающе:

Явь ли ты, мой Идеал?
Посетишь ли мой очаг,
С милой деткой на колене
В тихий сумеречный час?

Это финальное видение подействовало [в целом] на Стивена так, что он покрылся пятнами гнева. Кричащая безвкусица этих строк, абсурдная замена числа, смехотворное пришествие Хьюзова «Идеала», ковыляющего с грузом непостижимого младенца, – все это, соединяясь, вызвало у него резкий приступ боли в самом чувствительном месте. Он снова вернул Мэддену стихи, не проронив ни слова хвалы или порицания, но про себя решил, что посещение курсов мистера Хьюза более невозможно для него, и, проявив глупость, пожалел, что уступил импульсу сочувствия со стороны друга.

Когда потребность в понимающем сочувствии остается без ответа, лишь [слишком] непомерно строгий педант может себя упрекать за то, что предоставил некоему тупице шанс приобщиться к более жаркому движению более высокоорганизованной жизни. Поэтому Стивен рассматривал ссужения своих рукописей как особый способ «сигнализации фразами.» Он не причислял свою мать к тупицам, но, когда надежда его быть оцененным по заслугам потерпела крах вторично, он счел себя вправе переложить за это вину на чужие плечи со своих собственных: на них лежало уже довольно ответственности, и за содеянное, и за унаследованное. Мать не просила, чтобы он дал ей рукопись: она продолжала гладить одежду на кухонном столе, «ничуть не подозревая о возбуждении, творящемся в мозгу сына.» Он успел посидеть на трех или четырех кухонных стульях, пересаживаясь с одного на другой, и пробовал безуспешно примоститься, болтая ногами, на всех свободных углах стола. Наконец, не в силах справиться со своим возбуждением, он спросил в лоб, не хочет ли она, чтобы он прочел ей свой доклад.

– Конечно, Стивен, – если тебя только не смущает, что я тут глажу...

– Да нет, это ничего.

Стивен читал ей доклад медленно, с выражением, и когда он закончил, она сказала, что написано очень красиво, но отдельные вещи она не смогла уловить, так что не мог бы он прочесть ей все еще раз и кое-что разъяснить. Он прочел снова и потом дал себе волю, пустившись в длинное изложение своих теорий, «приперченное множеством грубовато-выразительных примеров, с которыми, он надеялся, до нее лучше дойдет.» Для матери, которая, вероятно, никогда прежде не подозревала, что «красота» может быть чем-то еще помимо светской условности или некой естественной преамбулы к браку и супружеской жизни, было удивительно увидеть, каким безмерным почетом окружает «прекрасное» ее сын. В сознании такой женщины красота зачастую синонимична распущенности, и по этой, вероятно, причине для нее было облегчением узнать, что за эксцессами новоявленного культа стоял признанный священный авторитет. Но все же, поскольку новые привычки докладчика были не слишком успокаивающими, она решилась сочетать осторожную материнскую заботливость с проявлением интереса, который не мог быть уличен в притворности и в первую очередь предназначался как комплимент. Плавно складывая выглаженный платок, она спросила:

– Стивен, а что пишет Ибсен?

– Пьесы.

– Я никогда раньше не слыхала его имени. Он сейчас жив?

– Да, жив. Но, знаешь ли, в Ирландии вообще не слишком знают, что делается в Европе.

– Как ты о нем пишешь, он должен быть великий писатель.

– А ты бы не хотела почитать его пьесы, мама? У меня есть.

– Да. Я бы хотела прочесть самую лучшую из всех. Какая у него лучшая?

– Не знаю, право... Но ты в самом деле хочешь прочесть Ибсена?

– В самом деле.

– Чтоб поглядеть, не читаю ли я опасных авторов, для этого?

– Нет, Стивен, – возразила мать, храбро решаясь на уклончивость. – По-моему, ты уже достаточно взрослый, чтобы знать, что хорошо и что плохо, и я тебе не должна указывать, что читать.

– Я тоже так думаю... Но я удивился, когда ты спросила об Ибсене. Мне в голову не приходило, что ты можешь интересоваться такими вещами.

Миссис Дедал плавно водила утюгом по белой нижней юбке, следуя за ритмом своих воспоминаний.

– Да, я об этом не разговариваю, конечно, но я не так уж и безразлична... До того как я вышла замуж за отца, я очень много читала. И я интересовалась всеми новыми пьесами.

– Но ведь с тех пор как вы поженились, вы оба даже ни разу не купили ни одной книги!

– Видишь ли, Стивен, твой отец не такой, как ты, его эти вещи не интересуют... Он мне рассказывал, как он в молодости пропадал на псовой охоте все время, занимался греблей на Ли. Он был больше по части спорта.

– Я догадываюсь, по какой он был части, – заметил непочтительно Стивен. – Я знаю, что он плевать хотел с высоты, что я там думаю или чего пишу.

– Ему хочется, чтобы ты сам себе проложил дорогу, продвинулся бы в жизни, – вступилась мать. – Вот в чем его амбиция. И не надо его корить за это.

– Нет-нет, что ты. Только моя-то амбиция не в этом. Меня тошнит частенько от такой жизни, по мне она уродлива и труслива.

– Что говорить, жизнь вовсе не то, что я думала о ней, когда была в девушках. Поэтому я и хотела бы почитать какого-нибудь великого писателя, понять, какой у него жизненный идеал – я правильно здесь говорю «идеал»?

– Да, но...

– Потому что иногда... не то что я ворчу на судьбу, какую мне послал Всемогуший, у меня в общем счастливая жизнь с твоим отцом – но иногда я чувствую, как хотелось бы выйти из этой вот, из реальной жизни и войти в другую... на время.

– Но это совсем неверно, это великая ошибка, которую все делают. Искусство это не бегство от жизни!

– Нет?

– Ты явно не слушала, что я говорил, или же ты не поняла. Искусство это не бегство от жизни. Это в точности противоположное. Наоборот, искусство и есть центральное выражение жизни. Художник это не шутикар, что показывает публике заводное царствие небесное. Этим попы занимаются. То, что утверждает художник, он утверждает из полноты собственной жизни, он творит... Понимаешь?

И так далее. На другой день или через день Стивен вручил матери несколько пьес для прочтения. Она прочла с большим интересом и нашла Нору Хельмер очаровательной. Доктор Штокман вызвал у нее восхищение, которое, однако, неизбежно уменьшилось, когда ее сын небрежно-кощунственно назвал этого непоколебимого бюргера «Иисусом во фраке». Но той пьесой, которую она предпочитала всем, оказалась «Дикая утка». О ней она говорила охотно

и, случалось, сама начинала тему: пьеса тронула ее глубоко. Чтобы не быть обвиненным в разгоряченности и пристрастности, Стивен не побуждал ее к открытым выражениям чувств.

– Надеюсь, ты не будешь вспоминать малютку Нелл из «Лавки древностей».

– Я, конечно, люблю и Диккенса, но, по-моему, есть большая разница между малюткой Нелл и этой бедняжкой – как там ее имя?

– Хедвиг Экдал?

– Да-да, Хедвиг... это все так печально: ужасно, даже когда читаешь... Я с тобой совершенно согласна, что Ибсен замечательный писатель.

– Правда?

– Да, правда. Его пьесы на меня очень действуют.

– А ты его считаешь безнравственным?

– Ну конечно, он говорит на такие темы, Стивен, ты понимаешь... Я о них сама очень мало знаю... такие темы...

– Темы, о которых, по-твоему, вообще не следует говорить?

– Ну, в старину именно так считали, но я не уверена, что это правильно. Я не уверена, что для людей хорошо оставаться в полном неведении...

– Тогда почему не обсуждать все это открыто?

– Я думаю, это могло бы повредить некоторым – тем, кто необразованны, неуравновешенны. Характеры у людей такие разные. Ты-то, возможно...

– Давай обо мне не будем... Ты думаешь, эти пьесы не подходят, чтобы их читали?

– Нет, я считаю, это по-настоящему чудесные пьесы.

– И не безнравственные?

– Мне кажется, Ибсен... у него необыкновенное знание человеческой природы... И мне кажется, иногда человеческая природа – это что-то совершенно необыкновенное.

Этим затрепанным обобщением Стивен должен был быть удовлетворен, поскольку он распознал за ним неподдельное чувство. Мать и вправду настолько прониклась новым евангелием, что решила приняться за обращение язычников; иначе говоря, она предложила своему супругу прочесть пьесы. Он слушал ее хвалы Ибсену с каким-то оторопелым видом, не замечая черт ее лица, с моноклем, ввинченным в изумленный глаз, и с разинутым в наивном удивлении ртом. Он всегда питал интерес к новинкам, детский восприимчивый интерес, а это новое имя и те явления, что оно вызвало в его доме, были явными новинками. Он не пытался развенчать новое направление своей жены, но ему не по нраву было и то, что она дошла до этого без его помощи, и то, что она приобретала таким путем возможность играть роль посредницы меж ним и сыном его. Прихотливые изысканья сына в странной литературе он не считал стоящим делом, но и не осуждал, и хотя у него самого было никак не обнаружить подобных вкусов, он был готов свершить благочестивейшее из всех геройств, а именно, будучи уж на склоне лет, расширить круг своих пристрастий во уважение к взглядам младшего. По обычаю некоторых людей старого закала, которым никогда не дано понять, отчего их покровительство или их суд приводят в ярость занимающихся словесностью, он выбирал себе пьесу по заглавию. Метафора – порок, который привлекает к себе недалекий ум своей меткостью и отталкивает чрезмерно серьезный ум своею рискованностью и ложностью, – так что, в конце концов, имеется что сказать, возможно, уж не такие горы, но хотя бы доброе слово, в пользу того общественного класса, который в литературе, как и во всем остальном, предпочитает стоять на земле всеми четырьмя лапами. Так или иначе, мистер Дедал предположил, что «Кукольный дом» будет каким-то пустячком в духе «Маленького лорда Фаунтлероя», и, не будучи даже неформальным членом того международного общества, что коллекционирует и рассматривает психические явления, он решил, что «Призраки» – это, вернее всего, какая-нибудь незанимательная история про дом с привидениями. Он остановился на «Союзе молодежи», где рассчитывал найти воспоминания родственных себе душ, закоренелых гуляк, и, одолев два акта

провинциальных интриг, оставил всю затею за утомительностью. Судя по отчужденной позе и полупочтительным полунамекам знакомых журналистов при упоминании имени, он настроен был ждать известной экстравагантности, быть может, аномальной знойности Севера, и [он] хотя подпись под фотографией Ибсена неизменно будила в нем чувство удивления – «b» столь странно возносила свою вертикаль рядом с вертикалью начальной, что [человек] ум как бы зависал в неуверенности на несколько мгновений забвенья, – все же окончательное впечатление от фигуры, к которой относилась подпись и которая у него ассоциировалась с конторой какого-то адвоката или биржевика на Дэйм-стрит, было впечатлением [разочарования с примесью] облегчения, смешанного с разочарованием, причем облегчение за сына, как и должно, преобладало над личным несильным, но явно ощутимым разочарованием. Таким образом, ни в одном из родителей Стивена респектабельность не находила полной приверженности.

За неделю до назначенной даты доклада Стивен вверил рукам председателя небольшую стопку бумаги, исписанной аккуратным почерком.

Макканн прищмокнул губами и положил рукопись во внутренний карман сюртука:

– Я прочитаю это сегодня вечером, и давай завтра встретимся здесь в этот же час. По моему, я уже заранее знаю все, что там есть.

На следующий [вечер] день Макканн сообщил:

– Что же, я прочел твой доклад.

– И что же?

– Блестяще написано – правда, на мой взгляд, резковато. Но сегодня утром я отдал его ректору, чтобы он прочел.

– Зачем?

– Ты знаешь, все доклады нужно сначала передавать ему на утверждение.

– Ты хочешь сказать, – с презрением сказал Стивен, – что ректор должен одобрить мой доклад, прежде чем я смогу его зачитать в вашем обществе?!

– Да. Он наш цензор.

– Отличнейшее общество!

– А почему бы и нет?

– Парень, это же детские игры. Вы мне напоминаете детей под присмотром няньки.

– Ничего не поделаешь. Приходится брать, что в наших возможностях.

– А почему попросту не прикрыть лавочку?

– Это все-таки ценно для нас. Молодежь приучается выступать на публике – как им потом придется в суде или на политическом митинге.

– Мистер Дэниэл мог бы то же сказать про свои шарады.

– Ручаюсь, мог бы.

– Так значит, этот ваш цензор сейчас изучает мой доклад?

– Что ж, он свободомыслящий человек...

– Ага.

Меж тем как двое юношей вели эту беседу на ступенях Библиотеки, к ним приблизился Хилан, главный оратор²⁰ колледжа. Этот округлый и слащавый молодой человек, бывший секретарем Общества, готовился быть адвокатом. Сейчас он взирал на Стивена с выражением легкого завистливого ужаса, растеряв весь свой аттический багаж:

– Ваш доклад попал под запрет, Дедал.

– Кто это сказал?

– Его высокопреподобие доктор Диллон.

²⁰ В этом месте на полях рукописи написана карандашом фраза для вставки после слова «оратор»: «предлагает ему виноград, „Я не ем мускатного винограда“, – но изменений текста, нужных для вставки, не сделано. Эта фраза встречается в гл. II «Портрета художника в юности».

За сообщением новости последовало молчание, во время которого Хилан медленно облизывал языком нижнюю губу, а Макканн как бы готовился пожать плечами.

– Где этот чертов старый осел? – бросил автор доклада нетерпеливо.

Хилан, побагровев, показал большим пальцем через плечо. В секунду Стивен перемахнул половину двора. Макканн закричал вдогонку:

– Ты куда?

Стивен приостановился, но, обнаружив, что неспособен говорить от гнева, ткнул жестом в сторону колледжа и быстро продолжал путь.

Итак, после всех трудов над докладом, после продумывания идей, оттачивания периодов, этот старый олух собрался его запретить! Пока он пересекал двор, его негодование отлилось в форму политического презрения. Часы в вестибюле колледжа показывали полчетвертого, когда Стивен оказался перед дряхлым швейцаром. Он должен был произнести дважды, во второй раз отчеканивая раздельно по слогам, настолько швейцар был глуповат и глуховат:

– Могу – я – видеть – ректора?

Ректора в кабинете не оказалось; он читал молитвенное правило в саду. Стивен вышел в сад и направился в сторону площадки для игры в мяч. Небольшая фигурка, завернутая в черный просторный плащ испанского вида, представилась ему со спины в дальнем конце боковой аллеи. Фигурка неспешно достигла конца аллеи, помедлила там с минуту и, повернув обратно, явила ему поверх молитвенника круглую голову четких очертаний, с выющимися сединами, и покрытое густой сеткой морщин лицо трудноопределимого цвета: верхняя его часть была цвета замазки, нижняя же усеяна пятнами шиферного цвета. Ректор неспешно приближался по аллее в своем обширном плаще, беззвучно шевеля серыми губами, произносящими слова молитвы. В конце аллеи он снова остановился и вопросительно посмотрел на Стивена. Приподняв кепку, Стивен проговорил: «Добрый вечер, сэр». Ректор ответил улыбкой – так улыбается хорошенькая девушка, услышав озадачивший ее комплимент: улыбкой «обезоруживающей».

– Чем могу вам служить? – спросил он [удивительно] глубоким и полновзвучным голосом, с рассчитанной интонацией.

– Насколько мне известно, – ответил Стивен, – вы желаете меня видеть в связи с моим докладом – докладом, который я написал для дискуссионного общества.

– А, так вы мистер Дедал, – произнес ректор более серьезным тоном, но все же любезно.

– Возможно, я отвлекаю...

– Нет, я уже закончил молитву, – промолвил ректор.

Он [начал] медленно двинулся по дорожке в таком темпе, который предполагал приглашение присоединиться. Стивен зашагал рядом.

– Я восхищен стилем вашего доклада, – произнес он твердо, – да, весьма восхищен, но я абсолютно не одобряю ваших теорий. Боюсь, я не могу разрешить вам прочесть этот доклад в обществе.

Они дошли до конца дорожки молча. Затем Стивен спросил:

– А почему, сэр?

– Я не могу создавать для вас условия, чтобы вы сеяли такие идеи среди молодежи колледжа.

– Вы считаете, что моя теория искусства неправильна?

– Это безусловно не та теория искусства, которую поддерживают в нашем колледже.

– С этим я соглашаюсь, – сказал Стивен.

– Больше того, это есть полное собрание современных брожений и современного вольнодумства. Те авторы, которых вы приводите в пример, которыми восхищаетесь, как видно...

– Аквинат?

– Нет, не Аквинат, о нем я скажу потом. Но Ибсен, Метерлинк... эти писатели-атеисты...

– Вам не нравится...

– Меня удивляет, что хоть один студент в нашем колледже мог найти у этих писателей нечто достойное, у тех, кто недостойн имени поэта, кто проповедует открыто атеистические доктрины и наполняет умы читателей всем сором современного общества. Это не искусство.

– Даже допуская вредоносность, о которой вы говорите, я не вижу ничего противозаконного в исследовании этой вредоносности.

– Да, оно может быть законным – для ученого, для реформатора...

– А почему же не для поэта? Данте, несомненно, исследует общество и бичует его.

– О да, – сказал ректор разъяснительно, – имея в виду нравственную цель. Данте был великим поэтом.

– Ибсен тоже великий поэт.

– Вы не можете сравнивать Данте с Ибсеном.

– Я не сравниваю.

– Данте, горделивый рыцарь прекрасного, величайший из поэтов Италии, и Ибсен, писатель над всеми и за пределами всех, Ибсен и Золя, стремящиеся сделать свое искусство низменным, потакающие развращенным вкусам...

– Но это *вы* их сравниваете!

– Нет, их сравнивать невозможно. Один имеет высокую нравственную цель – он делает род человеческий благородней; другой же делает его низменней.

– Если у поэта отсутствует какой-то особый кодекс моральных условностей, это еще не делает его низменным, по моему мнению.

– Да, если бы он исследовал даже самые низменные предметы, – сказал ректор, показывая свои закрома терпимости, – [то] дело бы обстояло иначе, если бы он их исследовал, а потом показал бы людям путь к очищению себя.

– Это для Армии Спасения, – сказал Стивен.

– Вы хотите сказать...

– Я хочу сказать, что Ибсен рисует современное общество с тою же подлинной иронией, с какой Ньюмен рассматривает мораль и веру английского протестанта.

– Возможно, – сказал ректор, умиротворенный подобной параллелью.

– И с тем же отсутствием всякого миссионерского намерения.

Ректор промолчал.

– Вопрос темперамента. Ньюмен мог удерживаться двадцать лет от того, чтобы написать «Апологию».

– Но уж когда накинута на него! – проговорил ректор со смешком, выразительно не закончив фразу. – Бедный Кингсли!

– Исключительно вопрос темперамента – отношения к обществу, будь то у поэта или у критика.

– Да-да.

– У Ибсена темперамент архангела.

– Возможно; но я всегда полагал, что он одержимый реалист, как Золя, и проповедует какое-то новое учение.

– Вы были неправы, сэр.

– Это общепринятое мнение.

– Однако ошибочное.

– Как я представлял, у него есть некоторое учение – социальное учение, о свободном образе жизни, и художественное учение, о необузданной распущенности, до такой степени, что публика не допускает его пьесы на сцену, а его имя даже нельзя называть в присутствии дам.

– Где вы такое нашли?

– Ну как же, всюду... в газетах.

– Это серьезный довод, – заметил Стивен осуждающим тоном.

Нисколько не будучи задет дерзостью этих слов, ректор, казалось, признавал справедливость их: он был самого низкого мнения о нынешних полуграмотных журналистах и заведомо не позволил бы, чтобы газеты навязывали ему свои суждения. Но вместе с тем по поводу Ибсена все мнения были всюду настолько единодушны, что он подумал...

– А можно узнать, многое ли из написанного им вы прочли? – спросил Стивен.

– Знаете ли, нет... Я должен сказать, что я...

– А можно узнать, прочли ли вы хотя бы одну его строчку?

– Знаете ли, нет... Я должен признаться...

– И полагаю, вы не считаете правильным выносить суждение о писателе, у которого вы не прочли ни единой строчки?

– Да, должен согласиться с этим.

Одержав эту первую победу, Стивен помедлил, колеблясь. Ректор заговорил снова:

– Меня очень заинтересовало ваше восторженное отношение к этому писателю. Мне самому до сих пор не выпало случая прочесть что-нибудь Ибсена, но я знаю, что у него самая высокая репутация. Должен сознаться, то, что вы о нем говорите, весьма изменяет мои взгляды на него. Быть может, я когда-нибудь...

– Если пожелаете, сэр, я могу вам дать некоторые его пьесы, – сказал Стивен с неосторожною простотой.

– В самом деле?

Оба сделали небольшую паузу: затем —

– Вы увидите, что это великий поэт и великий художник, – сказал Стивен.

– Мне будет очень интересно, – сказал ректор любезным тоном, – прочесть какие-то его вещи для себя, просто очень интересно.

Стивена подмывало сказать: «Извините, я отлучусь на пять минут – пошлю телеграмму в Христианию», но он преодолел искушение. За время этой беседы у него не раз являлась необходимость сурово подавлять безрассудного беса, который обитал в нем, имея ненасытный аппетит к фарсу. Ректор начинал обнаруживать либеральную широту своей натуры, однако сохранял подобающую духовному сану сдержанность.

– Да, мне будет необычайно интересно. Ваши взгляды довольно необычны. Вы собираетесь опубликовать этот доклад?

– Опубликовать?!

– Нежелательно, если кто-то примет идеи в вашем докладе за то, чему учат у нас в колледже. Мы управляем им на правах попечителей.

– Но вы же не обязаны нести ответственность за любые слова и мысли каждого студента в колледже.

– Нет, разумеется, нет... но все же, читая ваш доклад и зная, что вы из нашего колледжа, люди предположат, что мы насаждаем здесь такие идеи.

– Студент колледжа может, безусловно, выбрать свое собственное направление занятий.

– Именно это мы и стараемся всегда поощрять в студентах, но только ваши занятия, мне кажется, ведут вас к весьма революционным... весьма революционным теориям.

– А если бы завтра я опубликовал весьма революционную брошюру о мерах борьбы с картофельной чумой, вы бы считали себя ответственным за мою теорию?

– Конечно же, нет... но у нас не сельскохозяйственное учебное заведение.

– Однако и не драматургическое, – возразил Стивен.

– Ваши доводы не столь неопровержимы, как кажется, – сказал ректор после небольшой паузы. – Но я рад видеть, что у вас такое по-настоящему серьезное отношение к вашей теме. Тем не менее вам надо признать, что эта ваша теория – если довести ее до логического конца – освобождала бы поэта от любых нравственных норм. Я также замечая, что вы в докладе намекаете иронически на то, что у вас именуется «древней» теорией – то есть на ту теорию,

по которой драма должна иметь особые этические цели, по которой она должна наставлять, возвышать и развлекать. Я думаю, ваша позиция – Искусство ради Искусства.

– Я всего лишь довел до логического конца то определение, которое Аквинат дал прекрасному.

– Аквинат?

– *Pulcra sunt quae visa placent*²¹. По-видимому, он считает прекрасным то, что удовлетворяет эстетической потребности и ничему более – то, простое восприятие чего доставляет наслаждение...

– Но он имеет в виду возвышенное – то, что возводит ввысь человека.

– Картина какого-нибудь голландца, на которой блюдо с луковицами, тоже подошла бы под его замечание.

– Нет-нет, только то, что доставляет наслаждение душе, наделенной благодатью, душе, ищущей духовного блага.

– Определение блага у Аквината – ненадежная основа для рассуждения, оно крайне широко. Мне видится у него едва ли не ирония в том, как он говорит о «потребностях».

Ректор с некоторым сомнением почесал затылок.

– Конечно, Аквинат – необыкновеннейший ум, – пробормотал он, – величайший из учителей Церкви; но он требует нескончаемого толкования. Есть такие места у него, которые ни один священник не помыслит возглашать с амвона.

– А что, если я, как художник, отказываюсь соблюдать предосторожности, полагаемые необходимыми для тех, кто еще в состоянии первородной глупости?

– Я верю в вашу искренность, но вот что я вам скажу как личность постарше вас и как человек, имеющий некий опыт: культ красоты чреват трудностями. Бывает, что эстетизм начинается хорошо, но заводит в самые гнусные мерзости, о которых...

– *Ad pulcritudinem tria requiruntur*.

– Он коварен, он прокрадывается в ум тихой сапой...

– *Integritas, consonantia, claritas*²². Мне кажется... эта теория сияет блеском, а не таит опасность. Разум немедленно воспринимает ее.

– Конечно, святой Фома...

– Аквинат, безусловно, на стороне талантливого художника. Я не слышу от него ровно ничего про наставление и возвышение.

– Поддерживать ибсенизм с помощью Аквината мне кажется довольно парадоксальным. Молодые люди часто заменяют убеждения блестящими парадоксами.

– Мои убеждения меня никуда не увели; моя теория говорит сама за себя.

– А-а, так вы парадоксалист, – произнес ректор, улыбаясь с кротким удовлетворением. – Теперь я вижу... Но есть и еще одно – пожалуй, это вопрос вкуса скорей, нежели чего-то еще – что заставляет меня считать вашу теорию юношески незрелой. Не видно, чтобы вы понимали все значение классической драмы... Конечно, в своем собственном русле Ибсен тоже может быть замечательным писателем...

– Но позвольте, сэр! – перебил Стивен. – Классической школе в искусстве я воздаю почтение в полной мере. Вы, разумеется, не забыли моих слов...

– Насколько я помню, – сказал ректор, вознося к блеклым небесам слабо улыбающееся лицо, на коем память стремилась поселить пустую оболочку любезности, – насколько я помню, вы говорили о греческой драме – о классическом направлении – право же, совершенно огульно и с неким незрелым юношеским... сказать, что ли, нахальством?

²¹ Прекрасны те [предметы], что приятны для взгляда (*лат.*).

²² Для красоты потребны три вещи. [...] Цельность, согласованность, ясность (*лат.*).

– Но греческая драма – это драма героическая, чудовищная [sic]. Эсхил вовсе не классический писатель!

– Я уже сказал, что вы парадоксалист, мистер Дедал. Вы пытаетесь опрокинуть многовековые труды критиков блестящим оборотом речи, парадоксом.

– Я всего лишь употребляю слово «классический» в определенном смысле, с определенным заданным значением.

– Но вы не можете применять любую терминологию, какая заблагорассудится.

– Я не менял терминов. Я их разъяснил. Под «классическим» я понимаю неспешное кропотливое терпенье искусства удовлетворения. Искусство же героическое, фантазирующее я называю романтическим. Скажем, Менандр или не знаю там...

– Весь мир считает Эсхила великим классическим драматургом.

– Да, мир профессоров, которые благодаря ему кормятся...

– Сведущих критиков, – произнес ректор строгим тоном, – людей высочайшей культуры. И публика даже и сама способна оценить его. Я читал где-то... в газете, кажется... что Ирвинг, Генри Ирвинг, великий актер, поставил одну из его пьес в Лондоне и лондонская публика валила на нее толпами.

– Из любопытства. Лондонская публика повалит поглазеть на любую курьезную новинку. Если бы Ирвинг начал представлять крутое яйцо, они бы тоже повалили глядеть.

Ректор воспринял эту бессмыслицу с несокрушимой серьезностью и, дойдя до конца дорожки, несколько мгновений помедлил, прежде чем выбрать путь в направлении дома.

– Как мне предвидится, защита вашего дела в этой стране едва ли будет успешной, – сказал он отвлеченно. – Наш народ тверд в вере, и поэтому он счастлив. Он верен своей Церкви, и Церкви для него вполне достаточно. Даже для мирской публики эти современные писатели-пессимисты – это уже... уже слишком.

Перемахивая презрительным умом из Клонлиффской семинарии в Маллинггар, Стивен стремился подготовить себя к некоему определенному соглашению. Ректор заботливо перевел разговор в русло легкой беседы.

– Да, мы счастливы. Даже англичане стали убеждаться в безумии этих болезненных трагедий, этих жалких, несчастных, нездоровых трагедий. На днях я читал, что один драматург был вынужден заменить последний акт в своей пьесе, потому что там заканчивалось катастрофой – каким-то жутким убийством, самоубийством или чьей-то смертью.

– Почему бы не объявить смерть уголовным преступлением? – спросил Стивен. – У них слишком робкий подход. Гораздо проще взять быка за рога и покончить с этим раз навсегда.

Когда они вошли в вестибюль колледжа, ректор остановился у подножия лестницы, прежде чем подняться в свой кабинет. Стивен ждал молча.

– Начните видеть в окружающем светлую сторону, мистер Дедал. В первую очередь, искусство должно быть здоровым.

Замедленным гермафродитическим жестом ректор присобрал сутану, чтобы взбираться по лестнице:

– Должен сказать, что вы отлично защищали свою теорию... право, отлично. Я, разумеется, не согласен с ней, но я вижу, что вы продумали всю ее целиком и весьма тщательно. Ведь вы тщательно ее продумали?

– Да, продумал.

– Это очень интересно – местами немного парадоксально, юношески незрело – но меня это очень заинтересовало. Я, кроме того, уверен, что, когда ваши занятия обретут большую глубину, вы сможете исправить свою теорию – чтобы она лучше отвечала общепризнанным фактам; я уверен, тогда вы сможете успешнее ее применять – когда ваш ум пройдет некую... систематическую... выучку и у вас появится более широкий кругозор... чувство сопоставления...

XIX

Неопределенный стиль ректорского окончания беседы оставил ум Стивена в сомнениях; он не мог решить, было ли отступление наверх разрывом дружественных отношений или дипломатичным признанием собственной несостоятельности. Однако, коль скоро ему не было объявлено прямого запрета, он решил идти спокойно своим путем, пока на этом пути не встретится реальных препятствий. При новой встрече с Макканном он с улыбкою ждал, чтобы тот сам начал его расспрашивать. Его рассказ о беседе обошел все курсы, и ему было очень забавно наблюдать потрясенные выражения многих пар глаз, которые, судя по их нескрываемому и приниженному изумлению, явно видели в нем черты некоего морального Нельсона. Морис также выслушал рассказ брата о его битве с властью предержащим, однако не сделал никаких замечаний. Не получив содействия со стороны, Стивен сам принялся комментировать происшествие, пространнейше обсуждая каждый наводящий на размышление момент беседы. Он истратил массу горячего для воображения в сей увлекательной ловле предположительного, и эти стремительные, переменчивые гонки разожгли в нем огонек недовольства безразличием Мориса:

- Да ты меня слушаешь или нет? Ты знаешь, о чем я говорю?
- Да, все okay... Тебе разрешили прочесть доклад, так ведь?
- Разрешили, да... Только что это с тобой? Тебе что, скучно? Или ты думаешь о чем-то?
- Ну... в общем, да.
- И о чем же?
- Я понял, почему я сегодня вечером себя чувствую по-другому. Как ты думаешь, почему?

- Не знаю. Поведай сам.
- Я встал сегодня [на] с левой ноги. А обычно я встаю с правой ноги.

Стивен бросил искоса взгляд на торжественное лицо говорящего, ища на нем признаки насмешливого настроения, но, обнаружив лишь прилежный самоанализ, промолвил:

- Неужто? Это чертовски интересно.

В субботний вечер, что был назначен для чтения доклада, Стивен обнаружил себя находящимся перед скамьями амфитеатра Физической аудитории. Пока секретарь зачитывал повестку дня, он успел заметить монокль отца, блеснувший наверху у окна, и скорей угадал, чем разглядел вплотную к сему наблюдательному прибору дородную фигуру мистера Кейси. Брата он не увидел, но на передних скамьях помещались отец Батт и Макканн, а также и еще два священника. Заседание вел мистер Кин, профессор английской словесности. Когда официальная часть закончилась, председатель предоставил слово докладчику, и Стивен поднялся. Он переждал скромные аплодисменты и следом за ними, «в качестве заключительного ответственного соло, четыре звучных хлопка энергических ладоней» Макканна. Затем он прочел доклад. Читал он негромко и отчетливо, обертывая каждую дерзость мысли или стиля в невинную оболочку ровно льющегося звучания. Он спокойно дочитал до конца; чтение ни разу не прерывалось аплодисментами; и металлически ясным тоном произнес заключительные фразы, сел на место.

Первой мыслью, которая прорезала стремительно охватившее его смятение, было острое убеждение, что этот доклад ни за что не надо было писать. Покуда он мрачно держал сам с собой совет, следует ли ему «швырнуть рукопись им в физиономию» и уйти восвояси или остаться на своем месте, прикрывая лицо от свечей на председательском столе, до него вдруг дошло, что доклад начали обсуждать: это открытие удивило его. Хилан, оратор колледжа, предлагал выразить благодарность докладчику и в такт своим цветастым фразам мотал головой. Стивена занимало, видит ли еще кто-нибудь, как совершенно по-детски шевелятся губы оратора. Ему

хотелось, чтобы Хилан как-нибудь энергично клацнул челюстями, чтобы объявилось наличие у него крепких зубов; сам звук речи напоминал ему звуки при растирании хлеба в молоке, когда нянька Сэра готовила для Айсабел в голубой миске, где мать теперь держала крахмал. Но он тут же одернул себя за подобный тип критики и заставил вслушаться в слова оратора. Хилан велеречиво восхищался: ему представлялось (как он сказал) во время чтения доклада мистера Дедала, будто он слушает разговоры ангелов и не знает языка, на коем они беседуют. Не без великой робости он дерзает на критику, однако явственно было, что мистер Дедал не постиг всей красоты аттического театра. Оратор указал, что имя Эсхила вовеки нетленно, и предсказал, что драма эллинов еще переживет немало цивилизаций. Стивен заметил, что Хилан дважды заменял в произношении гласную «е» на «и», подражая отцу Батту, происходившему с Юга Англии, и принялся размышлять о том, [у кого] была ли заключительная фраза оратора взята им у доминиканского или иезуитского проповедника. «Греческое искусство, – сказал Хилан, – принадлежит не одной эпохе, а всем эпохам. Оно возвышается в гордом одиночестве. Оно является «имперским, императорским, императивным»».

Макканн поддержал предложение о благодарности докладчику, столь уместно выдвинутое мистером Хиланом; он желал также присоединить свою хвалу к выразительным похвалам мистера Хилана. Возможно, в докладе, что зачитал аудитории мистер Дедал, нашлось бы немало вещей, с которыми он не мог согласиться, однако он не был и слепым приверженцем античности ради античности, в отличие от мистера Хилана. Современные идеи должны обретать свое выражение; современный мир должен отвечать на вызов своих насущных проблем; и он полагал, что каждый автор, сумевший ярко и убедительно привлечь внимание к этим проблемам, достоин всяческого внимания любого серьезного человека. Он полагал, что выразит единодушное мнение всех собравшихся, если заявит, что мистер Дедал, представив в сегодняшнем заседании столь глубокий и откровенный доклад, оказал обществу неоценимую услугу и честь.

Основное развлечение всего вечера началось, когда отзвучали эти два первых выступления. Стивен попал под огонь шести или семи противников. Один из них, молодой человек по имени Маги, выразил удивление тем, что доклад, весь дух которого настолько враждебен духу самой религии – он не мог судить, понимает ли мистер Дедал истинную направленность защищаемой им теории, – может получать одобрение в их Обществе. Кто, как не Церковь, поддерживал и пестовал творческий дух? Разве не религии драма обязана самим своим рождением? Поистине, только жалкая теория может превозносить скучные пьески о греховных интрижках и при этом хулить бессмертные шедевры. Мистер Маги заявил, что он не знает об Ибсене столько же, сколько мистер Дедал, – да и не желает ничего знать о нем, – однако ему известно, что у этого автора сюжетом одной из пьес служат санитарные условия банного заведения. Если такое называют драмой, то ему неясно, почему бы какому-нибудь дублинскому Шекспиру не накропать бессмертного творения на тему о новом муниципальном проекте центральной канализации. Это выступление послужило сигналом к всеобщему нападению. Доклад Стивена был объявлен мешаниной из бессмысленных слов, ловким протаскиванием порочных принципов под видом эстетических теорий, отражением декадентских литературных вкусов пресыщенных европейских столиц. Высказали предположение, что отдельные части доклада предназначались его автором в качестве попыток розыгрыша: каждый понимает, что слава «Макбета» будет греметь и тогда, когда эти неведомые авторы, которых так обожает мистер Дедал, будут погребены и забыты. Искусство прежних времен любило созерцать прекрасное и возвышенное; современное искусство может предпочитать иные темы; но те, кто еще сумел уберечь разум от отравления ядами атеизма, знают, на чем остановить выбор. Агрессивность достигла высшей точки, когда с места поднялся Хьюз. Со звонким северным выговором он объявил, что «подобные теории несут угрозу» моральному здоровью ирландской нации. Народ не желает чужеземной грязи. Мистер Дедал, конечно, волен читать любых авторов, каких пожелает, но

у ирландского народа есть своя славная и великая литература, где он всегда может обрести обновленные идеалы, побуждающие его к новым патриотическим свершениям. Сам же мистер Дедал был ренегатом, покинувшим ряды националистов; он исповедует космополитизм. Но человек, принадлежащий всем странам, не принадлежит никакой стране – чтобы иметь искусство, нужно сначала иметь нацию. Мистер Дедал волен поступать как ему заблагорассудится, поклоняться алтарю Искусства (с большой буквы) и приходить в экстаз от никому не известных авторов. Но вопреки всем [его] лицемерным ссылкам на великого учителя Церкви Ирландия будет стоять во всеоружии против злокозненной теории, уверяющей, будто искусство может быть отделено от морали. Если нам суждено иметь искусство, пусть будет оно искусством нравственным, искусством возвышающим, а главное – национальным искусством,

Старым добрым ирландским,
Не саксонским, не итальянским.

Когда подошло время для председательствующего подвести итоги и предложить резолюцию собрания, настала, как обычно, пауза. Воспользовавшись ею, патер Батт поднялся и испросил позволения сказать несколько слов. Аудитория возбужденно зааплодировала, настраиваясь услышать обличение *ex cathedra*. Патер Батт принес извинения, сопровождаемые возгласами «Нет, нет», в том, что задерживает собравшихся в столь поздний час, однако он полагал своим долгом замолвить слово в защиту докладчика, на долю которого выпало столько поруганий. Он был готов выступить «адвокатом дьявола», и он сознавал все неудобство этой роли, тем паче что один из ораторов, и не без оснований к тому, описал язык, в который облечен был доклад мистера Дедала, как язык ангелов. Мистер Дедал представил чрезвычайно яркий доклад, доклад, который собрал полную аудиторию и удерживал ее внимание, породив оживленную дискуссию. Разумеется, невозможно, чтобы «в вопросах искусства» все были одного мнения. Мистер Дедал исходил из того, что конфликт между романтиками и классицистами есть условие всякого достижения и продвижения, и в этот вечер мы получили неоспоримое доказательство, что конфликт между противоборствующими теориями способен породить столь различные достижения, как сам доклад – безусловно, замечательная работа, – с одной стороны, и достопамятная атака на него, совершенная лидером оппонентов, мистером Хьюзом, – с другой стороны. По его мнению, некоторые из выступавших были незаслуженно суровы к докладчику, но ему было ведомо, что по части доводов в споре докладчик весьма способен постоять за себя. По поводу же самой теории отец Батт признался, что для него было настоящей новостью услышать, как Фому Аквинского цитируют в качестве авторитета в области эстетической философии. Эстетическая философия – новая дисциплина, и если она вообще что-либо представляет собой, то как дисциплина практическая. Аквинат бегло затрагивал тему о прекрасном, но всегда лишь с теоретической точки зрения. Чтобы толковать его положения в практическом смысле, надо иметь более полные знания обо всей его теологии, нежели те, какими мог обладать мистер Дедал. Вместе с тем он не пошел бы так далеко, чтобы утверждать, что мистер Дедал и вправду исказил учение Аквината, вольно или невольно. Но, как поступок, что сам по себе мог бы быть благим, может оказаться дурным в силу обстоятельств, так же точно предмет, внутренне прекрасный, с иных точек зрения может нести в себе порчу. Мистер Дедал избрал путь внутреннего рассмотрения прекрасного, отбросив эти иные точки зрения. Однако у красоты есть и практическая сторона. Мистер Дедал – страстный почитатель художественного, а такие люди отнюдь не всегда оказываются и самыми практическими людьми на [белом] свете. Здесь патер Батт напомнил слушателям историю про короля Альфреда и старушку, которая пекла пироги, – как раз про теоретика и практика – и выразил в заключение надежду, что докладчик, следуя примеру короля Альфреда, не будет слишком суров к тем практикам, которые критиковали его.

Председатель в заключительном слове выразил похвалу докладчику за его стиль, но сказал также, что докладчик явно забыл о принципе, согласно которому искусство предполагает отбор. Он находит, что обсуждение доклада было весьма поучительным и выражает уверенность, что все присутствующие благодарны отцу Батту за его ясную и отточенную критику. Мистер Дедал подвергся несколько суровому обхождению, но, с учетом многих блестящих достоинств его доклада, он (председатель) полагает, что есть полные основания предложить собравшимся членам Общества выразить единодушную и глубокую благодарность мистеру Дедалу за его превосходный и содержательный доклад! Предложение было принято единогласно, хотя и без особого энтузиазма.

Стивен, поднявшись, поклонился. Было в обычае, чтобы докладчик использовал этот момент для ответа критикам, но Стивен удовольствовался ответом на выражение благодарности. Кое-кто призывал его высказаться, но после того, как председатель выждал с минуту безрезультатно, заседание быстро завершилось. Не прошло и пяти минут, как Физическая аудитория опустела. Внизу в вестибюле молодые люди деловито надевали пальто и закуривали. Стивен огляделся кругом в поисках отца и Мориса и, не увидев их, отправился домой в одиночестве. На углу Стивенс-Грин ему повстречалась группа из четырех юношей – Мэдден, Крэнли, студент-медик, которого звали Темпл, и один клерк, служивший в таможне. Мэдден взял Стивена под руку и сказал утешительным тоном, втихомолку от других:

– Ну вот, старина, я же говорил, что эти чурбаны не поймут. Для них это слишком здорово.

Стивена тронуло это дружеское участие, но он покачал головой в знак того, что хотел бы переменить тему. К тому же он знал, что Мэдден, в действительности, понял в докладе очень мало и того, что понял, не одобрял. Когда Стивен поравнялся с четверкой, они брели медленно по улице, обсуждая вылазку в Уиклоу, которую намечали на Святой Понедельник. Стивен шел по обочине тротуара рядом с Мэдденом, так что вся компания продвигалась по широкому тротуару в одну шеренгу. Крэнли, идущий в центре, держал под руку Мэддена и клерка с таможни. Стивен рассеянно прислушался. Крэнли изъяснялся (как было в обычае у него, когда он на досуге прогуливался с товарищами) на некоем языке, в основе которого была латынь, а суперструктура заимствовалась из ирландского, французского и немецкого:

– *Atque ad duas horas in Wicklowio venit.*

– *Damnum longum tempus prendit,* – откликнулся клерк с таможни.

– *Quando... то есть... quo in... bateau... irons-nous?* – спросил Темпл.

– *Quo in batello?* – спросил Крэнли. – *In «Regina Maris»²³.*

Итак, немного посоветовавшись, молодые люди решили отправиться в Уиклоу на «Королеве морей». Внимать этому разговору было для Стивена большим облегчением: через несколько минут он уже перестал так остро чувствовать язвящую боль своего «крушения». Крэнли, заметив наконец идущего по обочине тротуара Стивена, произнес:

– *Ecce orator qui in malo humore est.*

– *Non sum,* – парировал Стивен.

– *Credo ut estis,* – возразил Крэнли.

– *Minime.*

– *Credo ut vos sanguinarius mendax estis quia facies vestra monstrat [sic] ut vos in malo humore estis»²⁴.*

Мэдден, не вполне владевший этим наречием, вернул компанию к английскому. У клерка с таможни засело, по-видимому, в голове, что он должен выразить восхищение стилем Сти-

²³ – И прибывает в Уиклоу в два часа.– Это занимает чертовски долго [...]– Когда [...] на каком (лом. лат.) пароходе мы поедем? (фр.)– На каком пароходе? [...] На «Королеве морей» (лом. лат.).

²⁴ – А вот оратор, который в дурном настроении.– Совсе нет.– Я думаю, что в дурном.– Минимально.– Я думаю, что ты треклятый лгун, поскольку лицо твое говорит, что ты в дурном настроении (лом. лат.).

вена. То был высокий молодой человек крепкого сложения, полнолицый; в руке он держал «зонтик». Он был на несколько лет [моложе] старше всех своих сотоварищей, но принял решение подготовиться для получения степени по отделению философии и морали. Он всюду сопровождал Крэнли, и красноречие последнего как раз и было причиной, заставившей его посещать вечерние занятия в колледже. Крэнли проводил большую часть времени, убеждая молодых людей переменить курс своей жизни. Клерка с таможни звали О'Нил. Он был славный малый, всегда отзывавшийся астматическим смехом на невозмутимые розыгрыши Крэнли, но больше всего его интересовали сведения о любой возможности умственного совершенствования. Он ходил на заседания дискуссионного общества и студенческого братства, поскольку благодаря этому был «в курсе» университетской жизни. Будучи осторожным и осмотрительным, он тем не менее позволял Крэнли «поддевать» его по поводу девушек. Стивен попытался уклонить компанию от пересудов по поводу его доклада, однако О'Нил воспринял тему как случай, которым необходимо воспользоваться. Он начал задавать Стивену вопросы в духе тех, что можно найти в альбомах признаний юных девиц, и Стивену подумалось, что умственные небеса его должны весьма походить на галантерейный магазин. Темпл был цыганского вида неотесанный юнец со спотыкающейся походкой и такою же спотыкающейся речью. Он был с Запада страны и слыл за ярого революционера. После того как О'Нил беседовал некоторое время с Крэнли, получая от него более вежливые ответы, чем от Стивена, Темпл после нескольких фальстартов вставил-таки фразу:

– По-моему... чертовски шикарный был доклад.

Крэнли с холодной миной повернул лицо к говорящему, однако [О'Нил] Темпл продолжил:

– Как он энтих расшевелил.

– *Habesne bibitum?*²⁵ – спросил Крэнли.

– Извиняйте, сэр, – спросил [О'Нил] Темпл у Стивена через головы шедших между ними, – а вы в Иисуса верите?.. Я вот не верю в Иисуса, – добавил он.

Тон этого заявления вызвал громкий смех Стивена, и смех продолжился, когда Темпл пошел спотыкаться чрез некое подобие извинений:

– Так я ж не знаю... если вы в Иисуса верите... Вот я верю в Человека... Если вы верите в Иисуса... оно конечно... Негоже мне было приставать сразу как вас увидел... вы так небось располагаете?

О'Нил хранил торжественное молчание до тех пор, пока речь Темпла не перешла в невнятное бормотанье; затем он сказал таким тоном, как будто бы начинал совершенно новую тему:

– Меня до крайности заинтересовал ваш доклад, а также и речи... Что вы думаете о Хьюзе?

Стивен не ответил.

– Жулик паршивый, – сказал Темпл.

– Я думаю, его речь была самого дурного вкуса, – с сочувствием сказал О'Нил.

– *Bellam boccam habet*, – произнес Крэнли.

– Да, он хватил через край, пожалуй, – сказал Мэдден, – но, знаете, это энтузиазм, бывает, его заносит.

– *Patrioticus est*²⁶.

– Раз орет – патриот! – сказал с визгливым смехом О'Нил. – Зато речь Батта была, по-моему, отличной – такая ясная, философская.

²⁵ Ты подвыпил? (лом. лат.)

²⁶ Хорошо говорит. [...] Он патриот (лом. лат.).

– А вы считаете так? – крикнул Темпл Стивену с середины тротуара. – Звиняйте... я хочу знать, чего он думает насчет речи Батта, – объяснял он одновременно троим [четверым] остальным... – Вы не считаете... что он тоже жулик паршивый?

Услыхав эту новую форму обращения, Стивен не мог удержаться от смеха, хотя речь патера Батта вызвала у него настроение, крайне далекое от благодушия.

– Да это те же самые штуки, какими он начиняет нас каждый день, – сказал Мэдден. – Знаем мы этот стиль.

– Его речь меня раздражила, – сухо произнес Стивен.

– А с чего? – спросил живо Темпл. – С чего она раздражила вас?

Вместо ответа Стивен соорудил гримасу.

– Речь жулика паршивого, – сказал Темпл, – ... а я вот рационалист. Я в эту религию ни в какую не верю.

– Я думаю, в некой части речи у него были добрые намерения, – медленно проговорил Крэнли после небольшой паузы, всем лицом повернувшись к Стивену. Стивен ответно поднял свой взгляд, [и встретил] твердо посмотрев в его блестящие черные глаза, и в то мгновение, когда взгляды их встретились, он ощутил надежду. Фраза не содержала ничего ободряющего; он весьма сомневался в ее истине; и все же он знал, что его коснулась надежда. В задумчивости он продолжал шагать рядом с четверкой юношей. На одной из бедных улиц, где они проходили, Крэнли остановился перед витриной небольшой лавочки с мелочным товаром, недвижно уставившись в старый пожелтевший номер «Дейли Грэфик», косо висевший за стеклом. Иллюстрация представляла зимний пейзаж. Никто не сказал ни слова, и поскольку молчание казалось воцарившимся надолго, Мэдден спросил, на что он смотрит. Крэнли посмотрел на спрашивающего и снова вернулся взглядом к пыльной картинке, мотнув тяжко головой в ее направлении.

– Чего там... чего там? – спросил Темпл, который разглядывал какие-то холодные *crubeens*²⁷ в соседней витрине.

Крэнли вновь повернул отсутствующее лицо к спрашивавшему его и указал на картинку со словами:

– *Feuc an eis super stradam... in Liverpoolio*²⁸.

Семейный круг Стивена между тем расширился благодаря возвращению Айсабел из монастыря. С некоторых пор ее здоровье ухудшилось, и монахини решили, что ей необходим домашний уход. Она вернулась домой через несколько дней после знаменательного события Стивенова доклада. Стоя у небольшого переднего окна, смотревшего на устье реки, Стивен увидел родителей, выходящих из трамвая; между ними шла худенькая бледная девочка. Отцу Стивена вовсе не улыбалось появление лишнего обитателя в доме, тем более дочери, которую он не слишком любил. Его раздражало, что возможность пребывания дочери в монастыре останется неиспользованной, но его чувство общественных приличий и долга было реальным, хотя и находящим приступами, и он ни за что бы не допустил, чтобы жена одна, без его помощи, отправилась забирать дочь домой. Его взгляд в будущее омрачался размышлениями о том, что дочь станет ему помехой, а не помощницей, а также и подозрением, что бремя ответственности, которое он благочестиво взвалил на плечи старшего сына, начинает этого юношу тяготить. Ему нравились, пожалуй, контрасты, и потому он ждал от своего отпрыска трудолюбия и трезвости, [и] однако нельзя сказать, чтобы он слишком желал обратного материального возвышения. От сына он всего лишь желал, чтобы тот вновь, в тисках обстоятельств, утвердил дух некоего неосязаемого превосходства, и за это Стивен давал ему условное оправдание. Но эта тонкая нить союза между отцом и сыном была порядком истрепана в испытаниях повседневности, и

²⁷ Свиные ножки (*ирл.*, верное написание *cruibins*).

²⁸ – Видите, лед на улице... в Ливерпуле (*гэл.*, *нем.* и *лат.*, верное написание *feuch*).

по причине ее хрупкости, а также и [неспособности] постепенного ржавения, начавшего разъедать ее верхний край, сигналы, передававшиеся по ней, делались все слабее и малочисленней.

Отец Стивена был вполне способен уговорить себя поверить тому, что было, как сам же он знал, неправдой. Он знал, что его разорение было делом его собственных рук, однако уговорил себя поверить, что то было дело рук других. Он питал то же отвращение к ответственности, что и его сын, не имея того же мужества. Он был из тех сумасбродных умников, у которых никакие доказательства не в силах победить первого впечатления. Его жена исполняла свой долг пред ним с поражающею буквальностью и тем не менее никогда не могла искупить греха своего происхождения. Расхожденья такого рода считают естественными в высших классах общества, однако ошибочно не признают их существования в мещанском сословии, где они зачастую выливаются в семейные раздоры с тупой, ненасытной ненавистью. Мистер Дедал ненавидел девичью фамилию своей жены с некой средневековой истовостью: она несла зловоние для ноздрей его. Узы союза с ней были единственным злом, в котором он, в полнейшей честности своей трусости, мог себя укорить. Теперь, когда он вступал в закатные года жизни, болезненно сознавая, что расточил удобные блага и накопил неудобные привычки, он обретал себе утешение и отмщение в тирадах столь бесконечных и столь часто повторяемых, что возникала опасность его превращения в маньяка. Вечерами его очаг становился сакраментальным свидетелем того, как эти отмщения вынашивались, бормотались, ворчались и извергались. Исключение в пользу жены, которое первоначально делалось его милосердием, вскоре исчезло из головы у него, и жена начала раздражать его символичностью своей покорности. Великий крах его жизненных надежд усугублялся утратой менее крупной и более острой – утратой чаемой славы. Имея некоторый доход и некоторые светские таланты, мистер Дедал привык считать себя центром какого-то малого мирка, любимцем какого-то небольшого общества. Он еще силился удержать это положение, но делал это ценой такой безрассудной широты, от которой его домашним приходилось страдать и материально и духовно. Ему рисовалось, что, пока он силится сохранять это иллюзорное положение, домашние дела его, чрез воздействие сына, понять которого он не делал никаких усилий, неким божественным образом исправятся. Когда он предавался этой надежде, она порой вносила враждебность в его чувство к сыну, которого он тем самым признавал имеющим превосходство над собой, однако ныне, когда ему приходилось подозревать надежду в напрасности, присутствие враждебности в этом чувстве делалось, судя по всему, одною из постоянных вех его эмоционального ландшафта. Понятие об аристократии, бывшее у сына, было отнюдь не тем, к какому он мог присоединиться, а молчание сына во время домашних баталий ему уже больше не казалось знаком согласия. Он был, на поверку, достаточно проницательным, чтобы заметить здесь скрытую угрозу для своих прав сеньора, и он не ошибся бы, решив, что сын рассматривает [эти] свое присутствие во время этих фальшивых и непристойных монологов как дань, взимаемую отцом в обмен на снабжение своевольного чада средствами существования...

Стивен принимал своих родителей не слишком всерьез. По его мнению, они установили с ним неправильные и неестественные отношения, и он полагал, что их привязанность к нему уравнивается с его стороны внимательным обхождением с ними и искреннею готовностью оказывать им множество таких материальных услуг, которые, в своем нынешнем состоянии воинствующего идеализма, он мог рассматривать свысока как мелочи. Единственными материальными услугами, в которых он отказал бы им, были те, что он находил духовно опасными, и, как надлежит признать, его милосердие почти сводилось к нулю этим исключением, поскольку он культивировал независимость души, с которою могли совмещаться лишь очень немногие подчиненности. Божественные образчики укрепляли в этом его. Фраза, которую проповедники превращают в заповедь повиновения, казалась ему скудной, ироничной и недостаточно определенной, а рассказ о жизни Иисуса не оставлял у него впечатления [с] рассказа о жизни того, кто повиновался другим. Когда он был католиком в подлинном смысле слова,

фигура Иисуса всегда казалась ему слишком «далекой и бесстрастной,» и из сердца его никогда не излилось ни единой пылкой молитвы к Испытателю: лишь Марии, как слабейшему и более влекущему сосуду спасения, вверял он свои духовные дела. Теперь его раскрепощение от дисциплины Церкви, казалось, совпадало с [естественным] инстинктивным возвращением к Основателю таковой, и этот импульс, возможно, привел бы его к признанию достоинств протестантизма, если бы другой естественный импульс не побуждал его упорядочивать даже то, что было самопротиворечащим и абсурдным. К тому же он не знал, не обязано ли папство своим высокомерием самому Иисусу в той же мере, как нежеланию и несогласию заходить в какой бы то ни было теме дальше «Аминь, глаголю вам»; но зато он был совершенно уверен в том, что за криптическими речениями Иисуса стояла гораздо более определенная концепция, нежели все те, что могли, при любых ожиданиях, открываться за протестантским богословием.

– Занеси в свой дневник, – сказал он всезаписывающему Морису. – Протестантская ортодоксия – как собачка Ланти Макхейла, что каждому хвостиком виляет.

– Мне кажется, эту собачку дрессировал апостол Павел, – ответил Морис.

Зайдя однажды случайно в колледж, Стивен обнаружил Макканна, стоящего в вестибюле с длинным адресом в руках. Другая часть адреса лежала на столе, и почти все студенты колледжа, подходя, ставили под адресом свои подписи. Макканн красноречиво ораторствовал перед небольшой собравшейся группой, и Стивен узнал, что адрес был приветствием студентов Дублинского университета русскому царю. Мир во всем мире; разрешение всех конфликтов через третейский суд; всеобщее разоружение наций – таковы были те благодеяния, за которые студенты слали свою благодарность. На столе были выставлены две фотографии, одна – русского царя, другая – редактора «Ривью оф ривьюз»; на обеих стояли подписи этой знаменитой четы. Макканн стоял боком к свету, и Стивена позабавило замечавшееся сходство между ним и миролюбивым императором, который был снят в профиль. Вид осоловелого Христа, который имел царь, пробудил в нем презрение, и он обернулся, ища поддержки, к стоявшему у дверей Крэнли. На голове у Крэнли была сильно перепачканная шляпа желтой соломы в форме перевернутого ведра, и под ее укрытием лицо его застыло в матово-тусклом спокойствии.

– Похож на плаксивого Джейсуса, правда? – спросил Стивен, показывая на фотографию царя и пользуясь дублинским вариантом имени как выразительного общеизвестного существительного²⁹.

Крэнли взглянул туда, где стоял Макканн, и, кивнув, ответил:

– Плаксивого Джейсуса и волосатого Джейсуса.

Макканн в эту минуту заметил Стивена и сделал знак, что через минуту подойдет к нему.

– Ты подписал? – спросил Крэнли.

– Эту штуку? Нет – а ты?

После некоторого колебания Крэнли издал весьма замедленное «Да».

– Зачем?

– Зачем?

– Ну да.

– Чтобы был... Рах.

Стивен заглянул под ведроподобную шляпу, однако не сумел прочесть никакого выражения на лице ближнего своего. Взгляд его, блуждая, достиг засаленной вершины головного убора.

– Боже правый, чего ради ты это напялил? Страшной жары как будто нет, правда? – спросил он.

Крэнли не спеша снял шляпу и уставился в ее бездонные глубины. После небольшой паузы, указывая на нее, он сказал:

²⁹ «Дублинский вариант» Джейсус (Jaysus) включает игру слов: jay – модник, щеголь.

– Viginti-uno-denarios.

– Где? – спросил Стивен.

– Я купил ее, – произнес Крэнли весьма внушительно и весьма подчеркнуто, – прошлым летом в Вика³⁰.

Он снова глянул на шляпу и сказал «с насмешливой теплотой»:

– Не так уж... не так уж и дрянно... шапочка... понимаешь ты.

И он неспешно водрузил ее обратно на голову, продолжая по инерции бормотать себе под нос: «Viginti-uno-denarios».

– Sicut bucketus est³¹, – заключил Стивен.

Далее тема не обсуждалась. Из одного из карманов Крэнли извлек маленький серый шарик и принялся тщательно исследовать его, делая отметины во многих точках поверхности. Наблюдая за этой операцией, Стивен слышал, как к нему обращается Макканн.

– Я хочу, чтобы ты подписал этот адрес.

– О чем?

– Адрес выражает восхищение мужеством, которое проявил русский царь, когда выпустил рескрипт к мировым державам, где он защищает принцип третейского суда вместо войн в качестве средства разрешения споров между нациями.

Стивен покачал головой. В этот момент Темпл, который слонялся по вестибюлю в поисках единомышленников, приблизился к нему и спросил:

– А вы верите в мир?

Никто ему не ответил.

– Значит, ты не подпишешь? – спросил Макканн.

Стивен еще раз покачал головой.

– А почему? – сухо спросил Макканн.

– Если нам требуется Иисус, – ответил Стивен, – пусть это будет легитимный Иисус.

– Адская сила! – расхохотался Темпл. – Ну, здорово. Слыхали? – обратился он к Макканну и Крэнли, как будто считая их обоих крайне тугими на ухо. – Слыхали такое? Иисус легитимный!..

– Я заключаю отсюда, что ты одобряешь войну и человекоубийство, – сказал Макканн.

– Не я создал этот мир, – ответил Стивен.

– Адская сила! – сказал Темпл Крэнли. – А я вот верю во всеобщее братство. Звиняйте, – сказал он, поворачиваясь к Макканну, – а вы верите во всеобщее братство?

Макканн пропустил вопрос мимо ушей, по-прежнему обращаясь к Стивену. Он начал развивать доводы в пользу мира, к которым Темпл сперва пытался прислушиваться, но, поскольку говорящий находился к нему спиной, революционный юноша не мог как следует расслышать речь и вновь принялся блуждать по залу. Стивен не вступал в спор с Макканном, но, выбрав подходящую паузу, произнес:

– Я не намерен подписывать.

Макканн умолк, а Крэнли, подхватив Стивена под руку, сказал:

– Nos ad manum ballum jocabimus³².

– Хорошо, – тут же проговорил Макканн, как если бы получать отпор было ему привычно, – если нет, так нет.

Он отправился собирать другие подписи для царя, а Крэнли и Стивен между тем вышли в сад. На площадке для игры в мяч никого не было, и они устроили матч до двадцати очков, причем Крэнли дал Стивену фору в семь очков. Стивен был не слишком опытным игроком

³⁰ Народное произношение названия графства Уиклоу.

³¹ Двадцать один динарий [...] Сиречь ведро (лом. лат.).

³² Пошли играть в гандбол (лом. лат.).

и потому успел набрать лишь семнадцать, когда Крэнли крикнул: «Партия!» Потом он проиграл и вторую партию. У Крэнли был сильный и точный бросок, но, на взгляд Стивена, чтобы быть классным игроком, ему не хватало быстроты. Во время их матча появился Мэдден, который уселся рядом с площадкой на старом ящике. Он волновался гораздо сильнее, чем оба игрока, стуча по ящику каблуками и выкрикивая: «Давай, Крэнли! Давай, Крэнли!» и «Да ну же, Стиви!» Крэнли, который был подающим в третьей партии, забросил мяч за площадку на территорию лорда Айви, и игра была прервана, пока он отправился на розыски. Стивен присел на корточки рядом с Мэдденом, и они вместе глядели снизу на Крэнли, который, держась за сетку, делал со стены призывные знаки одному из садовников. Мэдден вытащил курительные принадлежности:

– Вы тут давно с Крэнли?

– Недавно, – ответил Стивен.

Мэдден принялся набивать трубку крупным и грубым табаком:

– Знаешь что, Стиви?

– Что?

– Хьюз... он тебя не любит... напрочь. Я слышал, как он про тебя говорил одному.

– «Одному» – это туманно.

– Словом, напрочь не любит.

– Его энтузиазм заносит его, – сказал Стивен.

В субботний вечер, в канун Вербного Воскресенья, Стивен и Крэнли оказались одни вдвоем. Они стояли на лестнице Библиотеки, облокотившись на мраморную балюстраду, и бездельно смотрели на входящих и выходящих. Большие окна перед ними были [открыты] распахнуты, и [через] в них задувал теплый ветерок.

– Ты любишь службы Страстной Седмицы? – спросил Стивен.

– Да, – отвечал Крэнли.

– Они чудесны, – проговорил Стивен. – Во время *Tenebrae*³³ – это же безумно по-детски, когда нас пугают, стуча молитвенниками по скамейке. И разве не странно смотреть на Мессу Преждеосвященных Даров – никаких свечей, никаких облачений, голый алтарь, двери дарохранительницы настезь и священники лежат ниц на ступенях алтаря?

– Да, – сказал Крэнли.

– И тебе не кажется, что псаломщик, который открывает службу, – какая-то странная фигура. Никому неизвестно, откуда он возникает: у него никакой связи со службой. Приходит сам по себе, становится справа от алтаря, раскрывает книгу, а когда прочтет текст, закроет книгу и удаляется как пришел. Разве не странно?

– Да, – сказал Крэнли.

– А знаешь, как начинается его чтение? *Dixit enim Dominus*³⁴: *in tribulatione sua consurgens ad me: venite et revertamur ad Dominum*³⁵ —

Он проскандировал речитативом, *mezza voce*, начало чтения, и голос его поплыл вниз, над лестницей, по круглому залу вестибюля, и каждый звук возвращался обратно, звуча для уха богаче и мягче.

– Он взывает, – проговорил Стивен. – Он – это тот, кем этот мелолицый деятель был для меня, «адвокат дьявола». В Страстную Пятницу Иисус не имел друга. Ты знаешь, какая фигура встает у меня перед глазами в Страстную Пятницу?

– Какая?

³³ Тьма; Преисподняя (*лат.*).

³⁴ Исправлено красным карандашом на *Naes dicit Dominus* (как и следует); ниже требуется и еще поправка: после *sua* пропущено слово *tape*.

³⁵ С вышеуказанными поправками: «Речет Господь: В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу» (*лат.*). Первое чтение католической службы Великой Пятницы (Ос. 6: 1).

– Маленький уродливый человечек, что принял в тело свое грехи мира³⁶: Нечто между Сократом и гностическим Христом – Христос Темных Веков. Это то, что его искупительная миссия уготовала ему: скрюченное, уродливое тело, к которому не будет жалости ни у Бога, ни у человека. У Иисуса странные отношения с этим его отцом. Отец его, мне кажется, имеет нечто от сноба. Ты заметил, что он никогда не замечает своего сына на публике, кроме единственного раза – когда Иисус в парадном мундире на вершине Фавора?

– Я не очень люблю Великий Четверг, – сказал Крэнли.

– Я тоже. Слишком много мамаш с дочками осаждают исповедальню. Слишком пахнет цветами, жар от свечей, женщины. И потом, молящиеся девицы, это меня сбивает.

– А ты любишь Великую Субботу?

– Люблю, хотя служба начинается очень рано.

– И я люблю.

– Да, это как будто Церковь все обдумала, рассмотрела и говорит: «В конечном счете, видите, наступило утро, и он был не так уж мертв, как мы думали». Труп превратился в пасхальную свечу, в которой пять зернышек ладана, взамен его пяти ран. Три верные Марии, которые в пятницу думали, что все кончено, тоже каждая со свечой. Колокольный звон, и всю службу сплошные аллилуйи, не относящиеся к делу. Довольно техническое, в общем, мероприятие, благословляют то, се, пятое, десятое, но все так радостно, торжественно.

– Но ты же не думаешь, что все это набитое дурачье чего-то там видит в этих службах?

– А разве не видит? – спросил Стивен.

– Ну уж! – сказал Крэнли.

Пока они разговаривали, по лестнице поднялся один из друзей Крэнли. То был юноша, служивший днем клерком на пивоварне Гиннеса, а вечерами занимавшийся в колледже на вечернем отделении философии и морали. Склонил его к занятиям, разумеется, Крэнли. Молодой человек, фамилия которого была Глинн, не мог держать голову неподвижно, страдая наследственной нервозностью, и руки у него начинали сильно дрожать, как только он пытался что-то делать ими. Он говорил с нервной нерешительностью и, казалось, убеждал себя только методическим притопываньем ноги. Он был низкоросл, с негритянским лицом и черной курчавой головой негра. Обычно он ходил с зонтиком, а разговор его представлял собой, в основном, переложение прописных истин в многосложные фразы. Такую манеру он выработал у себя отчасти оттого, что она избавляла его от неудобств мозговой работы с нормальной скоростью, а также, возможно, и оттого, что он видел в этом наилучший путь выражения для своего своеобразного чувства юмора.

– А вот и профессор Зверски-Здоровый-Зонтик Глинн, – сказал Крэнли.

– Добрый вечер, джентльмены, – сказал Глинн, кланяясь.

– Добрый... вечер, – произнес Крэнли отсутствующе. – Да-да... вечер нынче хороший.

– Я вижу, – сказал Глинн, укоряюще грозя дрожащим указательным пальцем, – я вижу, вы собрались говорить самоочевидные вещи.

В Среду Предателя³⁷ Крэнли и Стивен были на службе Тenebrae в соборе. Они обошли алтарь и стали на колени позади семинаристов из Клонлиффа, которые пели службу. Стивен оказался прямо напротив Уэллса и сразу заметил, как надетый стихарь разительно изменил весь облик юноши. Стивену не понравилась служба, которую пробубнили слишком быстро. Он сказал Крэнли, что придел с отполированными скамьями и лампочками накаливания напоминает ему страховую контору. По предложению Крэнли, они решили в Страстную Пятницу пойти на службу в церковь кармелиток на Уайтфрайрс-стрит, где, по его словам, служили

³⁶ На полях карандашом написано: «Идея козла отпущения в Ветхом Завете и Агнца Божьего в Новом (собственные слова Христа)». Возможно, это должно было следовать за словом «мира».

³⁷ Употребительное в Ирландии название Страстной Среды, когда Иисус был предан Иудой.

гораздо теплее. Крэнли проводил Стивена домой часть пути, расписывая ему с великими подробностями и с подмогой своих больших рук все достоинства бекона из Уиклоу.

– Нет, ты не иудей, – сказал Стивен, – ты, я вижу, поедает нечистое животное.

Крэнли возразил, что абсурдно считать нечистой свинью за то, что она жрет грязные отбросы, и в то же время считать деликатесом устрицу, которая кормится в основном испражнениями. По его мнению, свинью злостно оклеветали: он заявил, что на свиньях можно зарабатывать кучу денег. Тезис он иллюстрировал всеми немцами, которые составили себе в Дублине скромные состояния, открыв колбасные лавочки.

– Я всерьез подумывал, и не раз, – сказал он, останавливаясь, дабы придать вес замечанию, – открыть колбасную лавку, понимаешь... повесить над дверью вывеску «Кранлиберг»³⁸ или там какую-нибудь немецкую фамилию... да и зашибить, понимаешь, капитал на свинине.

– Господи помилуй! – произнес Стивен. – Что за жуткая идея!

– Ага, – молвил Крэнли, грузно двинувшись дальше, – зашибил бы, как пить дать.

В Страстную Пятницу, бесцельно бродя по городу, Стивен увидел на стене плакат, возвещавший, что в иезуитской церкви на Гардинер-стрит его высокопреподобие У. Диллон, О. И., и его высокопреподобие Дж. Кэмпбелл, О. И., имеют проповедовать на тему о Трех Часах Страстей Иисусовых. Меряя шагами одну безлюдную улицу за другой, Стивен ощущал острую неприкаянность и одиночество, и, сам ясно не осознавая этого, он начал двигаться в направлении Гардинер-стрит. Был теплый пасмурный день, и город выглядел, словно пораженный божественным оцепенением. Проходя мимо церкви Святого Георгия, Стивен увидел что уже полтретьего – он бродил по городу целых три часа. Он вошел в церковь на Гардинер-стрит и, пройдя, не воздавши, мимо столика брата-мирянина, очнувшегося из ословелой дремы в ожидании лепты, достиг правого крыла церкви. От алтаря до самых входных дверей церковь была запружена хорошо одетой толпой. Всюду он замечал то же польщенное обожание иезуитов, которые без труда заполучают в приверженцы своего ордена тысячи душ ненадежно respectable среднего класса, даруя им рафинированное убежище, участливого и тактичного исповедника, а также и особую приятность манер, каковой их духовные похождения никак не давали оснований ждать от них. Неподалеку от себя, под укрытием одной из колонн, Стивен увидел своего отца и его двух друзей. Отец направлял монокль на хор, расположенный в отдалении, и на лице его было выражение растроганной набожности. Хор исполнял какой-то обильно расцвеченный мотив, долженствующий выражать скорбь. Ходьба, давка, жар, полумрак церкви лишили Стивена сил, и, прислонясь к перекладине дверей, он прикрыл глаза и отпустил мысли в вольное плавание. В голове начали складываться рифмы.

Он смутно различал, что на кафедру поднялась белая фигура, и он услышал голос, произносящий *Consummatum est*³⁹. Он узнал голос, и он понимал, что это патер Диллон читает проповедь о Седьмом Слове. Он не делал усилий слышать проповедь, но через каждые несколько минут он слышал раздающийся над собранием новый перевод Слова. «Совершилось», «Окончилось». Этот звук пробудил Стивена от грез, и пока переводы следовали [друг] один за другим с нарастающей быстротой, он обнаружил, что в нем встрепенулся инстинкт игрока. Он бился об заклад сам с собой, каким будет очередное слово проповедника. «...Окончилось», «...Завершилось», «...Исполнилось». За несколько секунд, разделявших первую и вторую части фразы, ум Стивена побивал рекорды скоростного угадыванья: «...Сбылось», «...Состоялось», «...Заключилось». Наконец, на финальном взлете риторики, отец Диллон вскричал, что все окончено, и собрание начало растекаться по улицам. Влекомый толпой, Стивен повсюду вокруг себя слышал одинаковые шепоты восхищения и видел одинаковые мины удовлетворе-

³⁸ На полях написано карандашом: «джентльмен-мясник», однако не указано, куда должны быть вставлены эти слова.

³⁹ Совершилось (лат.). Ин. 19: 30.

ния, шепоты приглушенные, мины сдерживаемые. Избранные подопечные иезуитов поздравляли самих себя и друг друга с хорошо проведенной Великой Пятницей.

Чтобы не встретиться с отцом, Стивен по кругу выбрался в середину церкви и, стоя подле главного входа, выжидал, покуда мимо него, шаркая и спотыкаясь, проходил простой люд. Прошел молодой рабочий с женой, и до Стивена донеслось: «Уж этот секет свою тилогию, я те скажу». Две женщины остановились у купели для святой воды и, «тщетно поведив» руками по дну, нерешительно перекрестились сухими руками. Одна вздохнула, кутаясь в темную шаль.

– А грит-то как, – сказала другая.

– Уж как ладно.

В свою очередь, другая вздохнула, кутаясь в шаль.

– Благослави Господь барина, – сказала она, – такие грит тиритические слова, ни тебе ни мне не в толк⁴⁰.

⁴⁰ Вслед за этим карандашом написано: «Если я им сказал, что отсутствие воды в купели символизирует то, что, когда мы все омыты в крови Агнца, уже не требуется иных окроплений».

XX

Между Пасхой и концом мая отношения Стивена с Крэнли делались что ни вечер все ближе. Надвигалось время летних экзаменов, и Морису со Стивеном полагалось рьяно трудиться. Каждый день после полдника Морис неукоснительно удалялся в свою комнату, а Стивен направлялся в Библиотеку, где, как считалось, погружался в серьезные занятия. На самом же деле, в Библиотеке он ничего почти не читал. Часами он беседовал с Крэнли, сидя за столом или же стоя на верхней площадке лестницы, если библиотекарь или негодующие взгляды студентов заставляли их покинуть зал. Когда в десять Библиотека закрывалась, они возвращались вдвоем по центральным улицам, болтая о пустяках с другими студентами.

Казалось на первый взгляд странным, даже невероятным, что эти двое могут иметь еще что-то общее между собой, кроме неизлечимого стремления к праздности. Стивен начал все-речь рассматривать себя как художника слова; он демонстрировал пренебрежение к черни и презрение к власти. Сотоварищи, избираемые Крэнли, представляли собою чернь в начальной стадии брожения, на полпути между чаном и бутылкой, и Крэнли, казалось, находил удовольствие в зрелище этой карикатуры на собственную нерешительность. Во всяком случае, он держался подчиненно-оборонительно равно по отношению к черни и к власти, и Стивен склонялся бы рассматривать эту чересчур обдуманную манеру как верный знак внутренней испорченности, не будь у него ежедневного свидетельства, что Крэнли готов рисковать своим добрым именем члена Братства и преданного Церкви мирянина, сближаясь с человеком, который слывет несущим опасную заразу. Но, может статься, Крэнли хотелось, чтобы святые отцы решили, будто он сближается с молодым бунтарем-художником, имея тайную цель вернуть его на путь истинный, и, словно прикидывая тайком свою способность к таковой миссии, он постоянно перемежал толкования церковных учений и рассуждения о них с обсуждениями теорий Стивена. Поставив, таким образом, то и другое рядом, защитник ортодоксии в качестве следующего трюка подводил к возможности примиренья соседей и [даже] к дальнейшей возможности того, что Церковь не очень спешила бы осуждать причуды в архитектуре или даже использование языческих украшений и эмблем, если бы только ей вперед и ежеквартально платилась земельная аренда. Этот язык практических сделок, богоугодность которого была бы сомнительной для более бесхитростных душ, не мог удивить наших молодых людей, которым весьма нравилось возводить даже и моральные феномены к их первичным зародышам. Моральная доктрина католицизма [с], столь хитроумно соединенная и переплетенная с точно рассчитанной дозой совести, под ловким руководством способна была совершать чудеса сжатия и расширения. После тысячи таких изменений формы это эластичное тело внезапно обнаруживалось в трансформированном положении, и точка, до тех пор находившаяся снаружи, теперь оказывалась полностью заключенной в нем: и все это происходило неуловимо, покуда глаз усыплялся простою демонстрацией множества вариаций, выполняемых с неким инстинктом амебы.

Что до художественных вкусов, то едва ли можно сказать, что у Крэнли они имелись. Он в полной мере питал привязанность поселянина к прозе будней и, в дополнение к этому, отнюдь не питал того лицемерного влечения к изящным искусствам, какое поселянин проявляет по выходным. В Библиотеке он не читал ничего, кроме иллюстрированных еженедельников. Время от времени он брал со стойки толстую книгу, торжественно приносил ее на то место, где сидел, затем раскрывал ее и в течение часа изучал титульный лист и предисловие. Познавания его в художественной литературе равнялись, почти в буквальном смысле, нулю. Знакомство его с английской прозой, как кажется, ограничивалось смутным знакомством с началом «Николаса Никльби», а в области английской поэзии он определенно прочел стихотворение Вордсворта под названием «Совет отцу». О том и о другом достижении он поведал Стивену

в день, когда тот обнаружил его глубоко погруженным в чтение титульного листа книги, называвшейся «Болезни быков». Он никак не комментировал прочитанное, попросту констатируя свои достижения, не без некоторого удивления тем, что он их достиг. Он имел в своем подчинении разбредающий полк слов и потому способен был выражать себя, однако изъяснялся прямолинейно и часто делал ребяческие ошибки. У него была вызывающая манера употреблять иностранные слова и технические термины, как бы давая понять, что они для него пустые условности языка. Его восприимчивость не омрачалась никакими рвотными реакциями; он принимал все, что встречал на своем пути, и только чистым инстинктом Стивен мог угадать какие-то особые пристрастия в столь неразборчивом вместилище. Он любил сводить философский спор к механизмам самой умственной способности, и точно так же он поступал с мирскими материями, проверяя все, в первую голову, на питательность.

Таков был юноша, ради которого Стивен решил нарушить свою заповедь скрытности. Со своей стороны, Крэнли должен был бы быть полностью неуязвим для всех превратностей жизни, чтобы не испытать легкого смутения, столкнувшись с такими лестными и деликатно-настойчивыми проявлениями. Стивен взывал к его обнищавшему слуху со всей полнотой накопленного им словаря и противопоставлял безапелляционным трюизмам, выражавшим настроения его компаньона, сияющую сложность мысли. Во время этих монологов Крэнли почти никогда и ничем не проявлял своего присутствия. Он все выслушивал, казалось, все понимал и, казалось, держался мысли, что предполагаемый в нем характер влечет обязанность слушать и понимать. Он никогда не отказывался быть слушателем. Стивен пользовался этой его готовностью вовремя и не вовремя, ощущая нужду в понимающем сочувствии. Они вышагивали многие мили, прогуливаясь по улицам рука об руку. В сырую погоду они пережидали дождь в просторных портиках, отвлекаясь при виде какой-нибудь зазывающей безделицы. Иногда они усаживались в партере мюзик-холла, и один разворачивал перед другим расшитый ковер своих поэтических планов, меж тем как оркестр и комик переругивались во всю глотку. Крэнли постепенно привык к тому, что чувства и впечатления схватываются и анализируются на его глазах, в самый миг своего появления на свет. Ему [Крэнли] была неведома подобная сосредоточенность на себе, и первое время он дивился прямодушной дерзости Стивена, испытывая радость единоличного обладания. Этот феномен, который требовал пересмотра всех прежних его суждений и открывал какую-то новую систему жизни на предельных границах его мира [Крэнли], в некой степени мучил его сознание. Он также раздражал его, поскольку, слишком хорошо зная, какой великий процент христианских чувств таится под его маской стоика, он никак не мог ожидать у себя способностей к такой же экстравагантности. И все же, слушая, как чистосердечный молодой эгоист изливает к его ногам свою гордыню и гнев, будто драгоценные благовония, обогащаясь от этой широты, казалось ничего ровно не скрывающей и не прибегающей, — как ни желал бы он воздержаться от таких связей, он постепенно ощущал, что начинает откликаться на зов молчаливой и извращенной симпатией. Он демонстрировал грубость сильнее, чем то было в его натуре, и, как бы заражаясь высокомерием товарища, ожидал, казалось, что практика агрессивной критики сделает для него исключение.

Вольность, которую он себе довольно свободно позволял, состояла в нелицеприятных абстракциях, которые своей глубиной говорили о немалой умственной активности, но в конечном счете выливались в какую-нибудь тупую эмпирику. Если ему казалось, что [беседа] монолог, начавшийся с какой-нибудь тривиальности, заходит чрезмерно далеко, он слушал его в молчании, за которым различалось отталкивание, и в паузе или промежутке обрушивал грубый молот на злополучный исходный предмет. В иные дни Стивен находил эту ультраклассическую привычку до крайности неприятной. Как-то раз монолог прерываем был без конца. В тот вечер Стивен упомянул про болезнь сестры и развернул теорию длиною в несколько миль на тему домашней тираннии. Крэнли абсолютно не вступал в обсуждение самого предмета речи, однако непрерывно вставлял один вопрос за другим, едва представлялась к тому возможность.

Он спрашивал о возрасте Айсабел, о симптомах болезни, о фамилии врача, о лечении, о диете, о том, как она выглядит, как мать за ней смотрит, звали священника или нет, болела ли она раньше или нет. На все эти вопросы Стивен ответил, и все же Крэнли не удовлетворился. Он продолжал свои расспросы, пока монолог не пришлось волей-неволей прекратить; и Стивен, размышляя над его поведением, не мог решить, следует ли видеть в нем знак глубокого участия к человеческой болезни или же знак раздраженного недовольства бесчеловечным теоретиком.

Стивен отнюдь не уклонялся от подобного упрека в свой адрес, однако обнаружил в себе откровенную неспособность признать упрек справедливым. Все воспитание сестры проходило так, что она стала почти чужой для него. С тех пор как они оба были детьми, он вряд ли обменялся с ней сотней слов. Сейчас он не мог говорить с ней иначе как с чужим человеком. Она покорно приняла религию матери; приняла все, что ей предлагалось. Если она будет жить, у нее в точности подходящая натура для католической супруги ограниченного ума и набожной всепослушности, а если умрет, то ей, надо полагать, уготовано местечко в небесной вечности христиан, куда двум братьям ее, по всей видимости, вход заказан. Невзгоды мира сего, судя по сообщениям, суть легкое бремя на плечах истинного христианина, у которого есть возможность подождать, пока Творец не учредит царство праведников. Судьба Айсабел возбуждала гнев и сочувствие Стивена, но он тут же видел, сколь безнадежна эта судьба и сколь бесплодно было бы его вмешательство. Ее жизнь была до сих пор, и была бы впредь, трепещущим хождением пред Богом. Любой обмен мыслями между ними был обречен оказаться с его стороны либо проявлением снисходительности, либо попыткой совратить. Сознание их кровной близости нисколько не наполняло его природной, нерассуждающей привязанностью. Она называлась его сестрой, как мать называлась его матерью, однако никогда не было никакого доказательства этого отношения, которое он мог бы усмотреть в их чувствах к нему, как не было и никакого признания этого отношения, которое дозволялось бы в его чувствах к ним. Католическим мужу и жене, католическим отцу и матери дозволяется быть естественными, сколько им угодно, однако католическим детям не даровано этой благодати. Им следует вести себя беспрекословно по правилам, даже рискуя получить упрек в неестественности от тех же пастырей, что «объявляют естественную природу владением сатаны». Стивен испытывал порывы жалости к матери, к отцу, к Айсабел, даже к Уэллсу, но верил, что поступает правильно, не поддаваясь им: прежде всего ему надлежало спасти себя, и попытки спасения других могли быть его делом лишь тогда, когда их оправдывал его эксперимент на себе. Крэнли почти совсем уже сформулировал серьезные обвинения против него, прямыми намеками вызывая образ Айсабел с ее неумолимо тающим огоньком, черными длинными прядями волос и огромными удивленными глазами, но Стивен отвергал обвинения, отвечая в своем сердце, что несправедливо указывать на него укоряющим перстом и что вялая пассивная жалость тех, кто укреплял систему круговой поруки рабства, к тем, кто смирялся с этой системой, есть попросту игра на чувствах, равно типичная и для эгоиста, и для сентименталиста. К тому же Стивену не казалось, что Айсабел что-то грозит всерьез. Он сказал Крэнли, что, верней всего, у нее просто слишком быстрый рост; в таком возрасте многие девочки в хрупком состоянии. Он признался, что эта тема ему слегка надоела. Крэнли остановился и пристально взглянул на него.

– Милый мой, – произнес он, – хошь, я скажу тебе... Странный ты... человек.

За неделю до сессии Крэнли представил Стивену свой план, как выучить весь «курс за пять дней». То был тщательный план, основанный на тонком знании экзаменаторов и экзаменационных программ. По плану Крэнли предполагалось заниматься с десяти утра до половины третьего дня, затем с четырех до шести и затем с полвосьмого до десяти. Стивен отказался принять сей план, поскольку надеялся на свои хорошие шансы сдать за счет того, что он называл познаниями «вокруг да около»; но Крэнли утверждал, что его план целиком надежен.

– Я этого не вижу, – заметил Стивен. – Как это у тебя выйдет сдать – к примеру, латинский письменный – после такой беглой пробежки? Если хочешь, какие-то вещи я тебе покажу – не то чтобы я уж так чудесно писал...

Крэнли раздумывал, казалось пропустив предложение мимо ушей. Затем он решительно объявил, что его план удастся.

– Вот те на святой библии, – сказал он, – я им выдам такую штуку, хошь знать, ага, – такую отличную, как им надо. Что они смыслят в латинской прозе?

– Полагаю, не так уж много, – ответил Стивен, – но, возможно, они не совсем профаны в латинской грамматике.

Крэнли обдумал обстоятельство и отыскал средство.

– Вот те, если хошь знать, – сказал он, – как я только начну плавать по грамматике, я им тут же кусок из Тацита.

– А с какой стати?

– А какая хренова разница с какой?

– Убедительно, – признал Стивен.

План Крэнли не оказался ни успешным, ни неудачным по той основательной причине, что он не вступал в действие. Вечера перед экзаменами юноши проводили на воздухе, сидя в портике Библиотеки. Глядя в безмятежные небеса, они обсуждали способы жить с наименьшей затратой труда. Крэнли предлагал пчел: он был как будто знаком со всей доскональной механикой пчелиной жизни и относился к пчелам, похоже, не с такой нетерпимостью, как к людям. Стивен сказал, что было бы отличной системой, если бы Крэнли жил за счет труда пчел и предоставил ему (Стивену) жить за счет соединенных трудов пчел и пчеловеда.

– «День-деньской глядел бы, как

Блики солнца на волнах

Осентяют пчел в цветах».

– «Осентяют?» – спросил Крэнли.

– Ты же знаешь глагол «осенять»?

– А кто это написал?

– Шелли.

– «Осенять» – это прямо, знаешь, слово для осени, такого темно-золотистого цвета.

– Очень редко можно найти одухотворенное описание пейзажа. Некоторые думают, они пишут одухотворенно, если у них все рисуется тусклым и туманным.

– А мне это не кажется одухотворенным, то, что ты только что прочел.

– Мне тоже: но иногда Шелли обращается не к зрению. У него сказано: «множество флейт в окружении волн». Что это говорит твоему зрению или чувству цвета?

– Мне кажется, у Шелли лицо, похожее на птицу. Как там у него? «Осентяет блик в волнах»?..

– «Блики солнца на волнах

Осентяют пчел в цветах».

– А что вы цитируете? – спросил Глинн, только что вышедший из Библиотеки после нескольких часов занятий.

Крэнли смерил взглядом его, прежде чем дать ответ:

– Шелли.

– Ах, Шелли? А можно эту цитату еще раз?

Крэнли мотнул головой в сторону Стивена.

– Что это за цитата? – спросил Глинн. – Шелли – моя давняя страсть.

Стивен повторил строки, и Глинн нервически покивал головой несколько раз в знак одобрения.

– Что за прекрасные стихи писал Шелли! Такие мистические.

– А хошь знать, как их прозывают в Викла, энтих пчел? – неожиданно спросил Крэнли, обернувшись к Глинну.

– Нет, а как?

– Красножопые мухи.

Крэнли громко расхохотался, довольный собственной репликой, и даже притопнул каблуком по гранитным ступеням. Глинн, видя, что попал в ложное положение, принялся вертеть зонтиком в поисках какой-нибудь из своих дежурных остроумий.

– Но ведь это всего лишь, – произнес он, – если будет позволено так выразиться, это всего лишь, так сказать...

– «Осеньет блик в волнах

Красножопых мух в цветах» – вот те хренова поэзия ни на один хренов ноготь не хуже Шелли, – сказал Крэнли Глинну. – А по-твоему как?

– Мне кажется неоспоримым, – произнес Глинн, тыча вперед своим подрагивающим зонтом, как бы в подкрепление слов, – что пчелы располагаются в цветах. Мы можем сказать об этом, что это определено так.

Экзамены продолжались пять дней. В течение первых двух Крэнли даже для проформы не заглянул в экзаменационный зал, но после каждого экзамена его можно было видеть возле университетского здания тщательно разбирающим все вопросы с более прилежными из своих друзей. Он заявил, что экзамены очень легкие и сдать их может любой, имеющий средние познания. Он не задавал особых вопросов Стивену, а просто говорил: «Я так думаю, ты прошел». «Полагаю, да», – отвечал Стивен. Макканн появлялся обычно встретить студентов после экзамена. Отчасти он приходил, потому что полагал своим долгом высказывать интерес ко всему, что касалось колледжа, а отчасти потому, что экзамены сдавала и одна из дочерей мистера Дэниэла. Стивену, которого не очень заботило, сдаст ли он экзамен или провалится, было необычайно забавно отслеживать знаки зависти и нервической тревоги, пытавшиеся укрыться под маской беззаботности. Студенты, что усердно занимались весь год, делали вид, будто их положение ничем не лучше, чем у лентяев, и как лентяи, так и усердные казались сдающими сессию с крайней неохотой. Те, кто были соперниками, не заговаривали друг с другом, опасаясь взглядом выдать себя, но украдкой расспрашивали подвернувшихся знакомых об успехах другого. Возбуждение настолько владело ими, что даже возбуждение пола бесильно было его превозмочь. Студентки не были уж предметом обычных шуточек и смешков, на них смотрели теперь с некою неприязнью, как на коварных врагов. Некоторые из юношей давали одновременно выход своей враждебности и утверждались в чувстве своего превосходства, заявляя, что для женщин только естественно делать успехи, они могут заниматься по десять часов [круглый] в день круглый год. Макканн, исполнявший роль посредника, сообщал им слухи и сплетни из противного лагеря, и именно через него все узнали, что Лэнди не получит первой награды по английскому, потому что мисс Ривз написала двадцатистраничное сочинение на тему: «Верное и неверное употребление юмора».

Экзамены заканчивались во вторник. В среду утром мать Стивена выглядела чем-то обеспокоенной. Стивен не слишком порадовал родителей своим поведением на экзаменах, но вовсе не думал, чтобы волнение матери могло быть вызвано этим: и он выжидал, пока причина как-то объявится сама. Мать дождалась, чтобы комната опустела, и словно между делом сказала:

– Ты ведь еще не исполнил пасхальный долг, правда, Стивен?

Стивен ответил, что нет.

– Лучше всего тебе пойти на исповедь днем. Завтра Вознесение, и наверняка вечером сегодня церкви полны народа, там все, кто откладывали пасхальный долг до последнего. Удивительно, как это у людей нет стыда. Видит Бог, у них с Пепельной Среды было предовольно времени, чтобы не ждать двенадцатого часа для приобщения к Господу... Я это не о тебе, Стивен. Я знаю, ты готовился к экзаменам. Но те, кому делать нечего...

Стивен ничего на это не отвечал, продолжая старательно выскребать остатки яйца из скорлупы.

– Я уже исполнила пасхальный долг – в Великий Четверг – но утром я снова подойду к алтарю. У меня сейчас обет девятидневной молитвы, и я хочу, чтобы ты, причастившись, присоединился к моему особому прошению.

– Какому особому прошению?

– Ты понимаешь, милый, я так тревожусь за Айсабел... Я прямо не знаю, что думать...

Стивен «в сердцах» пробил ложечкой дно скорлупы яйца и спросил, нет ли еще чаю.

– В чайнике больше нет, но я быстренько вскипячу еще.

– Да ладно, не надо.

– Что ты, это совсем минутка.

Стивен не возражал, чтобы она поставила воду, это ему давало время, чтобы закончить разговор. Его сильно злило, что мать пытается втащить его в русло благонамеренности, используя здоровье сестры как средство. Возникало чувство, что такая попытка оскорбляет его честь и освобождает от последних доводов внимательной сыновней почтительности. Мать поставила воду, и вид ее был уже менее тревожным, как если бы она прежде ждала решительного отказа. Она попробовала даже перейти на непринужденную беседу в стиле религиозных матрон.

– Завтра мне надо бы постараться вовремя попасть в город, успеть к торжественной мессе на Мальборо-стрит. Завтра великий церковный праздник.

– Почему это? – спросил Стивен с улыбкой.

– Вознесение Господа нашего, – торжественным тоном ответила мать.

– А почему это великий праздник?

– Потому что Он явил Свою Божественность в этот день: Он вознесся на небеса.

Стивен принялся намазывать масло на хрустящую горбушку, меж тем как черты его складывались в решительное выражение враждебности:

– Откуда же он отчалил?

– С Масличной Горы, – ответила мать; под глазами у нее появились красные пятна.

– Головой вперед?

– Что ты хочешь сказать, Стивен?

– Хочу сказать, что, пока он долетел, у него, наверно, голова закружилась. Почему он не полетел на воздушном шаре?

– Ты хочешь глумиться над Господом нашим, Стивен? Клянусь, я думала, у тебя хватит разума, чтобы не пасть до такого языка: так говорят одни люди, способные верить только в то, что под носом. От тебя я такого не ожидала.

– Скажи, мама, – произнес Стивен между жевками, – ты мне в самом деле хочешь сказать, что ты веришь, будто наш друг воспарил с той горы, как про него говорят?

– Да, верю.

– А я нет.

– Стивен, что же ты говоришь?

– Это абсурд, цирк. Он является в мир Бог весть как, ходит по воде, выбирается из могилы и отправляется по воздуху с холма Хоут. Что это за чушь?

– Стивен!

– Я в это не верю, а если б верил, это не было бы моей заслугой. Что я не верю, в этом тоже нет заслуги. Это просто чушь.

– Самые просвещенные учителя Церкви в это верят, и для меня этого вполне достаточно.

– Он может поститься сорок дней.

– Бог может все...

– Сейчас на Кэйпл-стрит дает представления один парень, который говорит, что он может есть стекло и железные гвозди. Он называет себя «Человек-устрица».

– Стивен, – сказала мать, – я боюсь, что ты потерял веру.

– Я тоже боюсь, что это так, – ответил Стивен.

С видом, расстроенным до предела, миссис Дедал беспомощно опустилась на ближний стул. Стивен сосредоточил внимание на воде и, когда она вскипела, налил себе еще чашку чая.

– Никак я не думала, что до такого дойдет, – сказала мать, – чтобы кто-то из моих детей потерял веру.

– Но ты уже знала с каких-то пор.

– Как я могла знать?

– Знала.

– Я подозревала, что-то происходит неладное, но мне в голову не могло прийти...

– И ты все-таки хотела, чтобы я принял причастие!

– Конечно, сейчас ты не можешь принять причастие. Но я думала, ты исполнишь пасхальный долг как все годы до этого. Я не знаю, что тебя совратило с пути, наверно, книги, которые ты читаешь. Твой дядя Джон – его тоже в молодости совратили книги, но только на время.

– Бедняга! – произнес Стивен.

– Ты же воспитывался в религии и вере, у иезуитов, в католической семье...

– В весьма католической!

– Ни у кого из твоих родных, ни с отцовской, ни с моей стороны, нет в жилах ни капли какой-нибудь другой крови, не католической.

– Что же, я положу начало в нашей семье.

– Тебе давали слишком много свободы. И в результате ты делаешь что вздумается и веруешь во что вздумается.

– Я, например, не верю, что Иисус был единственным во все времена, кто имел волосы совершенно каштанового цвета.

– Ну и что?

– Как и в то, что он был единственным, кто имел рост в точности шесть футов, не больше и не меньше.

– Ну и что?

– А то, что ты в это веришь. Давным-давно я слышал, как ты это говорила нашей няньке в Брэе – помнишь няню Сэру?

Миссис Дедал нерешительно встала на защиту традиции.

– Так говорят.

– Ах, говорят! Говорят очень много чего.

– Но тебя не заставляют в это верить, если не хочешь.

– Покорно благодарю.

– Все, во что тебе предлагают верить, это слово Божие. Вспомни прекрасное учение Господа нашего. Вспомни собственную свою жизнь, когда ты верил в это учение. Разве ты тогда не был лучше, счастливее?

– Возможно, тогда это было хорошо для меня, но сейчас это для меня абсолютно бесполезно.

– Я знаю, что неладно с тобой – ты впал в гордыню разума. Ты забываешь, что мы всего лишь черви земные. Ты думаешь, что ты можешь бросить вызов Богу, лишь потому что злоупотребил талантами, которые тебе Он же дал.

– Я считаю, Иегова получает слишком большое жалованье за суд над людскими помыслами. Я его хочу отправить на пенсию по старости.

Миссис Дедал встала:

– Стивен, ты можешь говорить таким языком с приятелями, кем бы они там ни были, но я тебе не позволю говорить так со мной. Даже твой отец, о котором так дурно говорят, не богохульствует так, как ты. Ты, наверно, связался с кем-нибудь из этих студентов...

– Боже праведный, мама, – ответил Стивен, – не верь ты этому. Все студенты ужасно милые мальчишки. Они обожают свою веру; они мухи не обидят.

– Где бы ты этого ни набрался, я не позволю, чтобы ты при мне выражался так о святыне. Оставь это для ночных шатаний по улицам.

– Очень хорошо, мама, – сказал Стивен. – Но этот разговор начала ты.

– Я никогда не думала, что доживу до того, чтобы мой ребенок потерял веру. Видит Бог, я не думала. Я делала все, что могла, чтобы ты не сбился с пути.

Миссис Дедал заплакала. Стивен, съев и выпив все, что было в пределах досягания, поднялся и направился к двери.

– Это все из-за тех книжек, из-за твоей компании. По ночам неизвестно где, вместо того, чтоб быть дома, на своем месте. Я их все сожгу, я не хочу, чтоб они были в доме и растлевали еще других.

Задержавшись в дверях, Стивен обернулся к матери, которая уже рыдала в голос:

– Если бы ты была истинной католичкой, мама, ты бы сожгла и меня, а не только книги.

– Я знала, не будет от этого добра, когда ты поступил в это место. Ты губишь себя, губишь тело и душу. Вот, вера уже ушла!

– Мама, – молвил Стивен уже с порога, – я не вижу, из-за чего ты плачешь. Я молод, здоров и счастлив. Из-за чего плакать?.. Просто глупо...

В этот вечер Стивен пошел в Библиотеку специально для того, чтобы встретить Крэнли и [рассказать ему о] поведать о своем новейшем конфликте с правоверием. Крэнли стоял в портике Библиотеки и объявлял свои предсказания результатов экзамена. Как обычно, вокруг него толпилась небольшая компания, среди которой был его друг, клерк с таможни, и еще один закадычный друг, студент солидного возраста и весьма степенного вида, по фамилии Линч. Линч имел великую склонность к праздности, и он дал себе лет шесть или семь передышки между окончанием школы и началом обучения медицине в Колледже Хирургии. Он пользовался большим уважением коллег за то, что говорил густым басом, никогда не «выставлял» выпивки в ответ на ту, которую принимал от других, и очень редко ронял какие-нибудь слова в ответ на те, которые выслушивал от других. Гуляя, он держал всегда обе руки в карманах штанов и выпячивал вперед грудь в намерении тем выразить критическое отношение к жизни. С Крэнли, однако, он говорил главным образом о женщинах, и по этой причине Крэнли дал ему прозвище Нерон. Однако, хотя уста его и можно было обвинить в неронической тенденции, он разрушал имперские аллюзии тем, что сдвигал фуражку необычайно далеко на затылок со своего «чубастого лба». Он питал безграничное презрение к студентам-медикам и к их манерам, и если бы только его голова была чуть меньше забита Дублином, он бы стал ценителем изящных искусств. Во всяком случае, он сильно интересовался вокальным искусством. [и] Используя этот интерес, он тоже сделал попытку сблизиться со Стивеном, и, поскольку за его степенностью скрывался «стыдливый идеализм,» то через посредство Крэнли он уже начинал ощущать влияние живительной безалаберности Стивена. Он отвергал – что весьма уникально при вялом и безвольном характере – затертые и бессмысленные ругательства, «дешевые прегрешенья» уст, и отсюда в нем родились два взлета вдохновения. Он «сделал ругательством желтое,» в знак протеста против кровавого прилагательного с темной этимологией, а для описания брачного тракта употреблял единственный неизменный термин. Этим термином был «оракул», и все, что в пределах данной области, именовалось «оракулярным». В его окружении термин считался изысканным, и он строжайше уклонялся от объяснений, каков был процесс его открытия.

Стивен стоял на одной из ступеней портика, но Крэнли не уважил его никаким знаком приветствия. Стивен вставил несколько фраз в разговор, но по-прежнему его присутствие не удостоилось внимания Крэнли. Подобный прием ничуть не обескуражил его, хотя довольно заинтриговал, и он выжидал спокойно своего часа. Один раз он обратился напрямик к Крэнли,

однако не получил ответа. Ум его начал это переваривать, и в конце концов переваривание отразилось в продолжительной улыбке. Пока он так получал удовольствие, улыбаясь, он заметил, что за ним наблюдает Линч. Линч отделился от компании и сказал: «Добрый вечер». Потом он вынул из бокового кармана пачку сигарет «Вудбайн» и протянул одну Стивену со словами:

– Пяток на пенни.

Зная, что Линч живет в большой бедности, Стивен взял сигарету с признательностью. В молчании они курили несколько минут, и наконец вся компания в портике тоже смолкла.

– У тебя есть копия твоего доклада? – спросил Линч.

– А тебе нужно?

– Я бы хотел прочесть.

– Завтра вечером захвачу тебе, – сказал Стивен, поднимаясь по ступенькам выше.

Он подошел к Крэнли, который стоял, прислонясь к колонне и глядя прямо перед собой, и легким жестом тронул его за плечо.

– Мне надо поговорить с тобой, – сказал он.

Крэнли медленно повернулся и поглядел на него. Затем спросил:

– Сейчас?

– Да.

Они направились по Килдер-стрит, ничего не говоря. Когда они подошли к Грину, Крэнли сказал:

– Я еду домой в субботу. Может, мы дойдем до станции Харкорт-стрит? Я хочу посмотреть час отправления поезда.

– Хорошо.

На станции Крэнли очень долго разглядывал расписания поездов и делал таинственные выкладки. Затем он проследовал на платформу и продолжительно наблюдал, как перецепляют паровоз от товарного поезда к поезду пассажирскому. Паровоз пускал пары, оглушительно свистел и катил волны густого дыма к своду вокзала. Крэнли сказал, что машинист родом из его мест, сын одного сапожника из Тайнахили. Паровоз совершил серию неуверенных рывков и наконец прилачился к поезду. Машинист высунулся сбоку и апатично смерил поезд неспешным взглядом.

– Я думаю, ты бы назвал его чумазым Джейсусом, – сказал Крэнли.

– Крэнли, – произнес Стивен, – я оставил Церковь.

При этих словах Крэнли взял его под руку, они вышли с платформы и спустились по лестнице. Как только они были вновь на улице, он ободряюще спросил:

– Так ты оставил Церковь?

Стивен передал всю беседу фраза за фразой.

– Так значит, ты уже совсем не веришь?

– Я не могу верить.

– Но в прежнее время ты мог.

– Теперь не могу.

– Если бы захотел, ты бы смог и теперь.

– Ну значит, не хочу.

– Но ты уверен, что ты не веришь?

– Абсолютно уверен.

– Почему ты не идешь к причастию?

– Потому что я не верую.

– А ты бы не причастился кощунственно?

– Зачем это мне?

– Ради матери.

– Не вижу, почему я это должен.

– Твоя мать будет мучиться. Ты говоришь, что ты не веришь. Гостия это для тебя кусочек простого хлеба. И ты бы не съел кусочек простого хлеба, чтобы не причинять матери страданий?

– Во многих случаях съел бы.

– А почему не в этом случае? Тебя разве что-нибудь останавливает от кощунства? Раз ты не веруешь, тебя ничто не должно.

– погоди минуту, – сказал Стивен. – В данный момент совершение кощунства меня отталкивает. Я продукт католичества. Меня запродали Риму еще до моего рождения. Теперь я порвал цепи рабства, но я не могу вмиг избавиться от всех чувств, что были в моей натуре. На это потребно время. Но если бы возник случай крайней необходимости – например, речь шла бы о моей жизни – я бы совершил любую чудовищность с гостией.

– Многие католики сделали бы то же самое, – сказал Крэнли, – если бы речь шла об их жизни.

– Верующие католики?

– Ну да, верующие. Выходит, по тому, как ты себя проявляешь, ты верующий.

– Я совсем не из страха отстраняюсь от кощунства.

– Тогда из-за чего?

– Я не вижу оснований совершить кощунство.

– Но ты всегда исполнял пасхальный долг. Почему же меняться? Это ведь для тебя одна насмешка, комедия.

– Когда я ломаю комедию, это акт подчинения, публичный акт подчинения Церкви. Я не буду подчиняться Церкви.

– Даже если это только комедия?

– Это комедия с целью. Внешняя видимость сама по себе ничто, но она многое значит.

– Ты снова говоришь как католик. Гостия это ничто по внешней видимости – кусок хлеба.

– Согласен: и все равно я настаиваю на непокорности Церкви. Больше я подчиняться не буду.

– Но разве нельзя быть поддипломатичней? Разве ты не можешь быть в сердце бунтарем и следовать форме из презрения? Ты бы мог быть бунтарем духа.

– Любой, у кого восприимчивая натура, не может долго так делать. Церковь знает, чего стоит служить ей: священник должен каждое утро гипнотизировать себя перед дарохранительницей. Если я каждое утро буду вставать, подходить к зеркалу и говорить себе: «Ты – Сын Божий», через год мне понадобятся апостолы.

– Если ты можешь сделать, чтобы твоя религия давала такую же отдачу, как христианство, я тебе посоветую каждое утро вставать и подходить к зеркалу.

– Это было бы отлично для моих наместников на земле, но мне самому распятие причинило бы некоторые неудобства.

– Но тут, в Ирландии, если ты будешь следовать новой своей религии неверия, ты рискуешь быть распятым, как Иисус, – пускай не физически, а социально.

– Только есть разница. Иисус к этому относился легко. Я так легко не дамся.

– Как же ты можешь сулить себе подобное будущее и при этом бояться устроить всего-то навсего маленькую комедию в церкви?

– Это уж мое дело, – сказал Стивен, похлопав себя по лбу.

Подойдя к Стивенс-Грин, они перешли через улицы и стали прогуливаться по площадке, огражденной цепями. Несколько рабочих со своими подружками, пользуясь темнотой, раскачивались на цепях, словно на качелях. Аллея была безлюдна, лишь в отдалении, предупреждением для всех, прямо под снопом лучей газового фонаря, высилась металлическая фигура

полисмена. Проходя мимо колледжа, оба молодых человека как по команде подняли взгляд к темным окнам.

– Так можно спросить, почему ты оставил Церковь? – спросил Крэнли.

– Я не мог следовать ее предписаниям.

– Даже если с помощью благодати?

– Да.

– Предписания Иисуса самые простые. Это Церковь строга.

– Иисус или Церковь – мне это все едино. Я не могу следовать за ним. Мне необходима свобода поступать как мне нравится.

– Никому не дано поступать как нравится.

– Морально.

– Нет, и морально тоже нет.

– Ты хочешь, – сказал Стивен, – чтобы я тоже был как эти доносчики и лицемеры в колледже. Никогда я таким не буду.

– Нет. Я сказал про Иисуса.

– Не будем о нем. Я его превратил в имя нарицательное. В него не верят, его заповедям не следуют. Так или иначе, давай мы Иисуса оставим. В пределах моего зрения только его заместитель в Риме. Это пустое дело. Меня не запугают, чтобы я платил дань, безразлично, деньгами или мыслями.

– Ты мне сказал – помнишь вечер, когда мы стояли у балюстрады наверху и говорили про...

– Да помню, помню, – сказал Стивен, который терпеть не мог этот метод Крэнли «вспоминать прошедшее», – что я тебе говорил?

– Ты рассказал мне, какие мысли у тебя были про Иисуса в Страстную Пятницу, про безобразного скрюченного Иисуса. А тебе никогда в голову не приходило, что Иисус мог быть сознательным самозванцем?

– Я никогда не верил в его целомудрие – в смысле, с тех пор, как я стал думать о нем. Я уверен, он вовсе не был евнухом-священником. Его интерес к распутным женщинам слишком настойчиво человеческий. Все женщины, что вокруг него, – сомнительной репутации.

– И ты не думаешь, что он Бог?

– Хорош вопрос! Ты мне объясни это: объясни соединение ипостасей; скажи, подходит ли та фигура, которой этот вот полисмен поклоняется как Святому Духу, на роль сперматозоида с крылышками. Хорош вопрос! Он делает общие замечания о жизни, вот все, что я знаю, – и с этими замечаниями я не согласен.

– Ну например?

– Например... Слушай, я не могу говорить об этом. Я не специалист, и мне никто не платит как служителю Бога. Я хочу жить, пойми. Макканн желает воздух и пищу – я желаю это и еще массу другого. Мне все равно, прав я или нет. Я думаю, в человеческих делах всегда риск. Но пусть даже я не прав, мне не придется по крайней мере выносить общество патера Батта целую вечность.

Крэнли рассмеялся:

– Не забывай, он наверняка будет со прославленными.

– Выходит, по климату лучше рай, а по компании ад... Все это до того по-идиотски, вся эта канитель. Бросить все к черту. Я еще молод. Когда у меня вырастет борода по пояс, я изучу древнееврейский и тогда все тебе напишу про это.

– Почему ты так не выносишь иезуитов? – спросил Крэнли.

Стивен ничего не ответил, и когда они вошли снова в полосу света, Крэнли воскликнул:

– Ты стал весь красный!

– Я это чувствую, – ответил Стивен.

– Большинство считает тебя сдержанным человеком, – после паузы сказал Крэнли.

– Правильно считает, – сказал Стивен.

– Только не в этом вопросе. С чего ты так разволновался – не понимаю. Тебе это следует обдумать.

– Когда захочу, я могу обдумать все, что угодно. Все это дело я обдумал тщательно и внимательно, можешь мне в этом верить или не верить. Но мой побег из неволи меня волнует – я должен говорить именно так. Я чувствую, как лицо у меня горит. Чувствую, как сквозь меня проносится ветер.

– «Шум как бы от несущегося сильного ветра»⁴¹, – сказал Крэнли.

– Ты убеждаешь меня отложить жизнь – отложить насколько? Жизнь – это жизнь сейчас: если я ее отложу, я, может быть, никогда не начну жить. Ходить с достоинством по земле, выражать себя без тупой претензии, осознавать собственную человечность! И не думай, пожалуйста, что я занимаюсь декламацией, я совершенно серьезен. Я говорю из глубины души.

– Души?

– Да, моей души, моей духовной природы. Жизнь это не значит позевывать. Философия, любовь, искусство не исчезнут из моего мира из-за того, что я перестал верить, будто позволив себе вождение на одну десятую секунды, я для себя готовлю вечные муки. Я счастлив.

– Ты правда это можешь сказать?

– Иисус печален. Почему он так печален? Он одинок... Послушай, надо, чтоб ты увидел истину в том, что я говорю. Ты поддерживаешь Церковь против меня...

– Дай мне...

– Но что такое Церковь? Это не Иисус, блистательный одиночка со своими неподражаемыми воздержаниями. Церковь создана мною и мне подобными⁴² – ее службы, предания, обряды, живопись, музыка, традиции. Все это ей дали ее художники. Они сделали ее тем, что она есть. Они приняли комментарий Аквината к Аристотелю как Слово Божие и сделали ее тем, что она есть.

– А почему ты не поможешь ей и дальше такою быть – ты как художник?

– Я вижу, ты признаешь истину того, что я говорю, хотя не хочешь в этом сознаться.

– Церковь позволяет индивидуальному разуму иметь огромную... в действительности, если ты веруешь... то есть веруешь, – сказал Крэнли, тяжело притопнув обеими ногами на этом слове, – истинно и честно...

– Довольно! – воскликнул Стивен, хватая спутника за руку. – Не нужно меня защищать. Я беру весь риск на себя.

В молчании они обошли три стороны Грина, меж тем как парочки начали сниматься с цепей, отправляясь послушно к своим скромным местам упокоения, и через некоторое время Крэнли начал объяснять Стивену, как он тоже ощущал жажду жизни – жизни свободной и счастливой, – когда он был моложе, и как в этот период он тоже был близок к тому, чтобы оставить Церковь в поисках счастья, однако по многим соображениям удержался от этого.

⁴¹ Деян. 2: 2.

⁴² В рукописи слова «создана мною и мне подобными» вставлены красным карандашом.

XXI

Крэнли отправился в Уиклоу в конце недели, предоставив Стивену отыскивать другого слушателя. По счастью, у Мориса были каникулы, и хотя Стивен проводил добрую долю времени, шатаясь по дублинским трущобам, меж тем как Морис пропадал на острове Булл, братья встречались и беседовали часто. Стивен излагал свои длинные разговоры с Крэнли, и Морис производил их полную запись. По всей видимости, младший скептик не разделял высокого мнения старшего о Крэнли, хотя говорил он скупом. Это предубеждение Мориса сложилось у него не от ревности, а скорей в силу преувеличения деревенского начала в Крэнли. На его взгляд, быть поселянином значило быть скоплением привычек, порожденных хитростью, глупостью и трусостью. Разговаривал он с Крэнли всего однажды, однако часто видел его. Он заявил, что, по его мнению, Крэнли начинает думать лишь тогда, когда с ним заговорят, после чего производит на свет какую-нибудь банальность, которой сам, если бы мог, предпочел не верить. Стивен находил это несправедливым, говоря, что у Крэнли дерзостные банальности, что он «может заливаться соловьем» и что в нем возможно признать некий извращенный гений. Утрированный скептицизм Крэнли и его грузная походка подвигнули Мориса на то, чтобы «заклеймить деревенщину» в нем особым прозвищем. Он прозвал его Томас Чурбан и не желал даже слышать про то, что [Крэнли], в известной мере, тот умел держаться внушительно. Крэнли, по его мнению, уехал в Уиклоу, потому что ему требовалось «быть кумиром» для какой-нибудь публики. Он тебя невзлюбит, предрекал смысленный юный язычник, когда ты начнешь становиться кумиром еще для кого-нибудь. Есть ли у него что дать или нет, но он все равно не даст тебе ничего в обмен на то, что ты даешь ему, потому что в его [природе] характере подавлять другого. Очень возможно, он не понимает и половины того, что ты ему говоришь, но при всем том он желает, чтобы его считали единственным, кто может тебя понять. Он хочет, чтобы ты нуждался в нем все больше и больше, пока не окажешься в его власти. Следи всегда внимательно, когда вы вместе, чтобы не показывать ему никаких своих слабостей. Он будет в твоей власти до тех пор, пока ты будешь вести себя с позиции силы. Стивен отвечал, что это, на его взгляд, некая новоиспеченная концепция дружбы, ни правоту, ни ложность которой нельзя доказать простым обсуждением, однако сам он не кто иной, как сознательный обладатель интуитивного аппарата, вполне достаточного и надежного для немедленной регистрации любых проявлений неприязни. Он защищал одновременно и друга, и свою дружбу с ним.

Лето тянулось скучным и теплым. «Почти ежедневно Стивен скитался по бедняцким кварталам, наблюдая за убогой жизнью их обитателей. Он читал все уличные баллады, которые налеплялись на запыленные витрины в Либертизе. Читал клички лошадей и ставки на скачках, нацарапанные синим карандашом подле дверей грязных табачных лавчонок, в витринах которых красовались алые полицейские ведомости. Разглядывал все лотки с книгами, где предлагались старые справочники, тома проповедей и никому неведомые трактаты по цене пенни штука или два пенса за три. Нередко располагался около двух напротив выхода с какой-нибудь фабрики в старом городе и смотрел, как идут работяги на обед» – большей частью молодые парни и девушки с лицами без цвета, без выражения, которые ловили этот момент, чтобы полюбезничать на свой манер. Захаживал в нескончаемые церквушки, где дремал старик на скамье, или служка обметал пыль со всего деревянного, или молилась женщина перед поставленной ею свечкой. Медленно следуя через лабиринт бедных улочек, он отвечал гордым взглядом в упор на встречаемые взгляды туповатого изумления и наблюдал исподлобья, как крупные быкоподобные туши постовых полицейских медленно поворачивались ему вслед, когда он проходил мимо. И эти скитания полнили его глубоко затаенным гневом; встречая дородного попа в черном, свершающего приятственную инспекцию кроличьих садков, где в изобилии копошились раболепные чада Церкви, он всякий раз проклинал фарс ирландского

католицизма: остров, [где] чьи обитатели вверяют свою волю и ум другим, чтобы обеспечить себе жизнь в духовном параличе, остров, где все богатства и вся власть в руках тех, чье царство не от мира сего, остров, где кесарь [проповедует] исповедует Христа и Христос исповедует кесаря, дабы они могли сообща нагуливать жир за счет голодающей черни, которой в качестве утешения в невзгодах и нищете иронически предлагается «Царство Божие внутри вас есть».

Этот негодующий настрой, который явно можно было упрекнуть в поверхностности, был, несомненно, порожден возбужденным порывом освобождения, и едва он начал его лелеять в себе, как осознал опасность соскользнуть в демагогию. Та позиция, что была для него конститутивной, выражалась в молчаливой, презрительной и самопогруженной манере, и, кроме того, рассудок подсказывал ему, что томагавк уже устарел в качестве эффективного орудия военных действий. Как честный эгоист, он определенно осознал, что невзгоды нации, чья душа антипатична была его собственной, он не способен принимать к сердцу столь же близко, как безобразие неудачной строки стиха: но в то же время он был в мире всего лишь ничтожной малостью, как художник-дилетант. Он желал свободно и полно выразить свою натуру для блага общества, которое он бы обогатил, но также и для собственного блага, поскольку действовать так было частью его жизни. Радикальное преобразование общества не было частью его жизни, но он чувствовал свою нужду в самовыражении настолько реальной и насущной, что твердо решил отметать со своего пути любые общественные условности, как тесно их тирания ни переплеталась бы с чувством жалости, и хотя вкус к изяществу и к детали делал его непригодным к роли демагога, [судя] по его общим взглядам, его могли бы с известным правом считать союзником политиков-коллективистов, к которым [верующие] их противники, верующие в Иегову, десять заповедей и суд, часто обращают очень серьезные упреки в том, что они приносят реальность в жертву абстракции.

Та разновидность христианства, что именуется католичеством, казалась ему стоящей на пути у него – и, соответственно, он ее устранил. Воспитание его включало веру в примат Рима, и перестать быть католиком значило для него перестать быть христианином. Идея, что власть в империи слабей всего на границах, требует модификации: всякий знает, что папа не может властвовать в Италии так, как властвует он в Ирландии, а царь не столь страшное орудие для петербургских купцов, как для простых русских в степях. В действительности, очень часто правление империи сильней всего на границах, и, в частности, оно там сильней во всех случаях, когда начинает слабеть в центре. Волны возвышения и упадка империй распространяются не со скоростью световых волн, и пройдет, возможно, немало времени, прежде чем Ирландия сумеет понять, что папство давно уже не находится в фазе анаболизма⁴³. Толпы паломников, увлекаемые по всему континенту своими ирландскими пастырями, должны пробуждать стыд у прожженных реакционеров вечного города одурелым пылом своего благочестия, подобно тому как дивящийся провинциал, только что заявившийся из Испании или Африки, мог бы расшевелить гражданские чувства какого-нибудь улыбочивого римлянина, для которого [его прошлое уже лишь] будущее его народа становилось все более смутным, по мере того как прошлое становилось отчетливым. Хотя, с одной стороны, понятно, что эта неизбежность власти католицизма в Ирландии должна необычайно усиливать чувство изоляции у ирландского католика, решившего добровольно поставить себя вне закона, однако, с другой стороны, та сила, которую он должен в себе развить, чтобы вырваться из-под гнета столь мощной и изощренной тирании, часто может оказаться уже достаточной для того, чтобы вывести его за пределы сферы, где еще возможен возврат. На поверку, именно пыл предшествующей религиозной жизни Стивена сейчас обострял для него болезненность его изоляции и помогал в то же время отвердеванию в менее податливую, менее сговорчивую враждебность той расплавленной лавы ярости и тех

⁴³ В рукописи это слово подчеркнуто карандашом и написано с опiskой: «анабилизм».

сожигающих порывов, на которые чувства беспомощности, одиночества и отчаяния вначале действовали охлаждающе.

В летние месяцы столы в Библиотеке были пусты, и когда Стивену случалось туда забрести, он видел не много знакомых лиц. Одним из этих немногих был друг Крэнли [О'Нил] Глинн, клерк [с таможни] из пивоварни Гиннеса: все лето он усердно читал учебники по философии. Стивен имел несчастье в какой-то вечер попасться в плен [О'Нилу] Глинну, который немедленно завязал разговор о современной школе ирландских писателей – о коей Стивену было ровно ничего не известно, – и он должен был выслушивать сбивчивый поток литературных суждений. Суждения были не слишком интересны и быстро надоели Стивену: к примеру, [О'Нил] Глинн возвещал, какие прекрасные стихи писали Байрон, Шелли, Вордсворт, Кольридж, Китс и Теннисон, а также находил, что Рескин, Ньюмен, Карлейль и Маколей являются величайшими современными стилистами в английской прозе. В конце концов, когда [О'Нил] Глинн вознамерился пересказывать литературный доклад, прочитанный его сестрой в Дискуссионном клубе девушек из пансиона монастыря Лорето, Стивен решил, что имеет право положить этим излияниям предел, и «несколько в стиле Крэнли» спросил [О'Нила] Глинна с многозначительным видом, не может ли тот достать ему пропуск на осмотр пивоварни. Просьба была сделана тоном такого жадного, с трудом подавляемого интереса, что [О'Нилу] Глинну было весьма затруднительно продолжать свой литературный экскурс, и он обещал сделать все возможное, чтобы достать пропуск. Другим посетителем Библиотеки, который, казалось, очень хотел завязать дружбу со Стивеном, был молодой студент по фамилии Мойнихан, которого избрали на следующий год аудитором Литературно-исторического общества. В ноябре ему предстояло прочесть свою вступительную речь, и он выбрал для нее тему «Современное неверие и современная демократия». Он был до крайности некрасив [малоросл], с растянутым ртом, который, пока не рассмотришь вблизи, казался помещающимся под подбородком, с посаженными чересчур близко глазами цвета слишком замытых оливок и большими, далеко оттопыренными жесткими ушами. Его чрезвычайно заботил успех его речи, поскольку он собирался стать адвокатом и видел в своем вступительном обращении первый шаг к известности. Проницательность законника еще не успела развиться в нем, судя по тому, что он воображал, будто Стивен тоже ужасно озабочен его вступительной речью. Как-то вечером Стивен подошел к нему, когда он усердно «выстраивал» свою тему. Возле него лежали объемистые тома Лекки, и он занимался конспектированием статьи «Социализм» в Британской энциклопедии. Завидев Стивена, он прервал труды и принялся рассказывать о приготовлениях, которые предпринимал комитет. Он показал письма, полученные от различных общественных деятелей, к которым комитет обратился с предложением выступить. Он показал эскизы пригласительных билетов, которые планировалось отпечатать, а также показал текст объявления, которое решили послать во все газеты. Стивен, знакомство которого с Мойниханом было отнюдь не близким, был несколько удивлен этими конфиденциями. Мойнихан сказал, что, по его убеждению, на будущий год Стивена изберут аудитором, ему на смену, и добавил, что был необычайно восхищен стилем доклада Стивена. Потом он стал обсуждать виды Стивена и свои собственные относительно получения степени. Он сказал, что немецкий язык полезнее итальянского (хотя, безусловно, итальянский гораздо прекраснее как язык) и по этой причине он всегда изучал немецкий. Когда Стивен поднялся уходить, Мойнихан сказал, что он, пожалуй, тоже отправится, и сдал свои книги. Его путь лежал по Нассау-стрит, на остановку трамвая в сторону Пальмерстон Парк; была сырая погода, улицы почернели и поблескивали, залитые дождем, и благодаря этому он еще интимнее сблизился со своим намеченным преемником, бросая взгляды и восклицания вслед больничной сиделке, на которой были коричневые чулки и розовые нижние юбки. Стивен, которому это зрелище далеко не было неприятным, безмолвно наблюдал за ним еще задолго до того, как Мойнихан обратил на него внимание, и похотливые возгласы Мойнихана [также] напоминали ему стук клавишей пишущей машинки. Мойнихан, ставший к этому вре-

мени на приятельской ноге с ним, сказал, что знать итальянский он хотел бы ради Боккаччо и прочих итальянских писателей. Он поведал Стивену, что если того потянет прочесть что-нибудь этакое, «с клубничкой», [что] то в части «клубничности» первый приз – за «Декамероном».

– Завидую, я б тоже хотел как ты, – сказал он, – наверняка в оригинале вдесятеро забористей. Сейчас некогда рассказывать, вон мой трамвай подходит... но там точно уж первый приз, там этакое... смекаешь?... ну ладно, до скорого!

Мистер Дедал не обладал обостренным чувством прав частной собственности: за квартиру он платил крайне редко. Требовать платы за съестные припасы ему представлялось справедливым, однако ожидать, чтобы за крышу над головой люди выкладывали непомерные суммы, что ни год требуемые дублинскими домовладельцами, ему представлялось несправедливым. Сейчас он уже год как занимал дом в Клонтарфе и заплатил за один квартал. Первое судебное предписание, посланное ему, «содержало юридическую оплошность,» и этот факт позволил ему продлить срок проживания. В данный же момент дело приближалось к развязке, и он прочесывал город в поисках следующего пристанища. Согласно частному сообщению от приятеля в полицейском ведомстве, у него оставалось ровно пять дней последней отсрочки, и каждое утро он с великим вниманием начищал свой цилиндр, протирал монокль и, надменно насвистывая, отправлялся служить наживкою для дублинских квартирохозяев. При этом входная дверь зачастую захлопывалась с шумом, в качестве единственно возможного завершения перебранки. По результатам экзаменов наградой Стивену был всего лишь перевод на очередной курс, и отец сообщил ему под большим секретом, что ему стоит подыскать себе какой-нибудь род ночлежки, поскольку через неделю они все окажутся на улице. Семейные капиталы были более чем скудны, потому что новая мебель, будучи свезена по частям в ломбард, принесла совсем мало. Кредиторы-торговцы, приметившие ее отъезд, начали игру в стучать-звонить, на которую с большим любопытством глазели уличные мальчишки. Айсабел лежала в задней комнате наверху и угасала на глазах, становясь при этом все более плаксивой и раздражительной. Доктор приезжал теперь два раза в неделю и предписывал кормить ее деликатесами. Миссис Дедал приходилось ломать голову, чтобы обеспечить семье основательную трапезу хотя бы раз в день, и, стараясь исполнять сей подвиг, примирять склоки у дверей, умерять дурные настроения мужа и ухаживать за умирающей дочерью, она не имела лишней минуты. Что же до сыновей ее, то из них один был вольнодумец, другой угрюмый молчун. «Морис поедал черствый хлеб, бормоча ругательства в адрес отца и отцовских кредиторов, упражнялся в саду, поднимая поломанную штангу и толкая большой булыжник», и плелся на Булл каждый день, когда позволял прилив. По вечерам он писал свой дневник или отправлялся в одиночестве на прогулку. Стивен бродил по городу с утра до ночи. Братья мало бывали вместе [но впоследствии]. Однажды в летних сумерках, [когда] оба глубоко задумавшись, они столкнулись нос к носу на каком-то углу, – и оба расхохотались; после этого случая они стали иногда прогуливаться вместе по вечерам, обсуждая искусство слова.

Как Стивен и обещал, он дал текст своего доклада Линчу, что привело к некоторому сближению между ними. Линч почти уже окончательно решил вступить в орден недовольных, однако бескомпромиссный эгоизм Стивена и его полнейший отказ от сентиментальности не только к другим, но равно и к самому себе, вызвали у него раздумья. Его вкус к изящным искусствам, который, как он всегда думал, следует тщательно скрывать, теперь начинал робко заявлять о себе. Ему доставило также большое облегчение, когда он обнаружил, что у Стивена эстетизм уживается со здоровым и чуждым укором совести приятием животных потребностей молодых людей, поскольку, сам будучи животным смышленным, он начинал уже подозревать Стивена, судя по его рвению и возвышенности речей, во внешнем, по меньшей мере, утверждении той неисправимой девственности, каковой ирландский народ равно требует от всякого Иоанна, который брался бы его крестить, и от всякой Жанны, которая бралась бы освобождать

его, – как первого божественного свидетельства их годности для высокой миссии. Дом Дэниэлов настолько уже наскучил Стивену, что он прекратил воскресные посещения его, заменив их шатаниями по городу с Линчем. Они с трудом пробирались по запруженным улицам, где тесными стайками совершали променады молодые люди бедных достатков и фланирующие девицы. После нескольких подобных шатаний Линч усвоил новый словарь, выражающий новый подход к жизни, и начал считать оправданным то чувство презрения, какое всегда пробуждали в нем картинки дублинских нравов. Зачастую они останавливались посоветоваться на изощренном жаргоне с шальными девами города, чьи души почти отвращались от дурных намерений, в ужасе от трубного баса старшего из двух юношей, и Линч, согреваясь на солнышке приятельских отношений, которые оказывались столь вольными и живыми, лишенными всякого следа тайного соперничества или превосходства, начинал уже удивляться, как мог он прежде находить Стивена неестественным. У каждого, как он теперь считал, у кого есть свой особенный характер, должна быть и своя особенная манера.

Однажды вечером, спускаясь по лестнице Библиотеки после праздного получаса над [музыкальным словарем] трактатом о медицинских аспектах пения, Стивен услышал позади шуршанье чьего-то платья. Платье принадлежало Эмме Клери, которая, разумеется, была немало удивлена, увидев его. Она как раз приходила покорпеть над древнеирландским и направлялась сейчас домой: отец не любил, чтобы она оставалась в Библиотеке до десяти, потому что у нее не было провожатого. Вечер был такой приятный, что она решила не ехать на трамвае. Стивен спросил, не может ли он проводить ее домой. Несколько минут они стояли в портике, беседуя. Стивен вынул сигарету, зажег ее, но тут же [очень] в задумчивости сбил зажженный кончик и сунул сигарету обратно в свой портсигар; глаза у нее ярко блестели.

Они поднялись по Килдер-Стрит, и, когда дошли до угла Грина, она перешла дорогу и они продолжали путь уже не так быстро по «гравийной дорожке за цепным ограждением. Цепи несли ночное бремя» влюбленности. Он предложил ей руку, и она с признательностью на нее оперлась. Они начали обмениваться сплетнями. Она обсуждала вероятность того, что Макканн женится на старшей из дочерей мистера Дэниэла. То, что Макканн может захотеть жениться, ей, как видно, казалось очень забавным, но она с полной серьезностью добавила, что Энн Дэниэл, во всяком случае, чудесная девушка. Из темноты, населенной парочками, донесся девичий голос: «Не надо!»

– «Не надо», – сказала Эмма. – Тот самый совет, который дает мистер Панч мужчинам, что собрались жениться... Я слышала, что вы стали женоненавистником, Стивен.

– Это была бы крупная перемена, правда?

– И я слышала, вы прочли в колледже какой-то жуткий доклад... со всяческими идеями. Это верно?

– Прошу вас, не будем говорить об этом докладе.

– Но я уверена, что вы женоненавистник. Вы стали таким, знаете ли, неприветливым, надменным. Вам, может быть, не нравится общество дам?

Стивен слегка прижал к себе ее руку в качестве опровержения.

– И вы также стоите за эмансипацию женщин? – спросила она.

– Безусловно! – ответил Стивен.

– Что же, по крайней мере это я рада слышать. Я не думала, что ваши мнения в пользу женщин.

– О, я большой либерал, совсем как патер Диллон – он ведь таких либеральных взглядов.

– Да? Разве? – озадаченно проговорила она... – А почему вы совсем теперь не бываете у Дэниэлов?

– Я... сам не знаю.

– И чем же вы занимаетесь вечерами по воскресеньям?

– Я... сижу дома, – отвечал Стивен.

- Должно быть, вам грустно, когда вы сидите дома.
- Только не мне. Я веселюсь как одержимый.
- Я хочу снова услышать, как вы поете.
- О, спасибо... возможно, когда-нибудь...
- Почему вы не учитесь музыке? Не разрабатываете свой голос?
- Странно, как раз сегодня я читал книгу о пении. Она называется...
- Я уверена, ваш голос имел бы большой успех, – быстро перебила она, явно опасаясь доверить ему нить беседы... – А вы когда-нибудь слышали, как поет патер Моран?
- Нет. А у него хороший голос?
- Очень приятный, и он исполняет со вкусом. Он такой милый человек, вам не кажется?
- Необычайно милый. Вы ходите к нему на исповедь?
- Она оперлась на его руку чуть-чуть тесней и сказала:
- Не надо дерзить, Стивен.
- Я бы хотел, чтобы вы пришли исповедаться ко мне, Эмма, – произнес он от всего сердца.
- Какая жуткая мысль... Зачем вы бы этого хотели?
- Услышать ваши грехи.
- Стивен!
- Услышать, как вы прошепчете их мне на ухо и скажете, что вы сожалеете о них и никогда больше не будете [делать] их совершать, и попросите меня вас простить. И я бы простил вас и взял бы с вас обещание совершать их опять, всегда, когда вам захочется, и сказал бы вам: «Благослови тебя Господь, дитя мое».
- Стивен, Стивен, стыдитесь! Как можно так говорить о таинствах!
- Стивен ожидал, что она покраснеет, однако щека ее продолжала хранить невинность, только глаза блестели ярче и ярче.
- Вам ведь и это тоже наскучит.
- Вы так думаете? – спросил Стивен, стараясь удержаться от удивления столь умной репликой.
- Вы сделаетесь жутким ветреником, я уверена. Вам все так быстро надоедает – как было с вами в Гэльской Лиге, к примеру.
- В начале романа не стоит думать о его окончании, не правда ли?
- Может быть, не стоит.
- Когда перед ними оказался угол ее террасы, она остановилась и сказала:
- Очень вам благодарна.
- Это я благодарен вам.
- Итак, вы должны исправиться, непременно, и в следующее воскресенье прийти к Дэниэлам.
- Если вы так категорически...
- Да, я настаиваю.
- Чудесно, Эмма. Если так, я приду.
- Не забудьте. Я хочу, чтобы вы меня слушались.
- Чудесно.
- Еще раз спасибо за то, что вы меня так любезно проводили. Au revoir!⁴⁴
- Спокойной ночи.

⁴⁴ Напротив этой фразы имеется примечание карандашом: «Нужно дать по-ирландски». Почерк, которым написано это примечание, отличается от почерка рукописи. Возможно, что это почерк брата Джойса, Станислава, находившегося с Джойсом в Триесте с октября 1905 г.

Он смотрел вслед ей, пока не увидел, как она вошла в четвертый садик террасы. Она не обернулась взглянуть, смотрит ли он, но это его не опечалило: он знал, что у нее есть способ видеть, не подавая вида.

Разумеется, когда Линч услышал о происшедшем, он начал потирать руки и изрекать пророчества. По его совету в ближайшее воскресенье Стивен отправился к Дэниэлам. Старый диван конского волоса был на месте, изображение Сердца Иисусова было на месте – и она также. Блудному сыну был оказан теплый прием. За вечер она говорила с ним очень мало и, казалось, была целиком занята беседой с Хьюзом, которого с недавних пор удостаивали приглашения. На ней было кремовое платье, и пышная масса ее волос тяжелой волной ложилась на кремовую шею. Она попросила его спеть, и когда он исполнил песню Доуланда, она спросила, не споет ли он ирландскую песню. Стивен перевел взгляд с ее глаз на лицо Хьюза и снова уселся за пианино. Он спел ей одну из немногих ирландских мелодий, которые знал, – «Любовь моя родом с Севера». Когда он закончил, она громко зааплодировала, и Хьюз присоединился к аплодисментам.

– Я люблю ирландскую музыку, – сказала она через несколько минут, склоняясь к нему будто в забытии, – она так берет за душу.

Стивен не сказал ничего. Он помнил почти каждое слово, сказанное ею с момента их первой встречи, и теперь пытался восстановить хотя бы единое из этих слов, которое говорило бы о присутствии в ней духовного начала, достойного столь значительного имени, как душа. Покоряясь благоуханиям ее тела, он пытался найти в нем местопребывание духовного начала – и не сумел. По всему судя, она следовала католической вере, подчинялась всем заповедям и предписаниям. Все внешние знаки толкали его видеть в ней святую. Но он не мог оглупить себя до того, чтобы принять блеск в ее глазах за блеск святости или же приписать вздымающиеся и опадающие движения ее груди некоему священному порыву. Он думал о собственной [пылкой религиозности] расточительной религиозности и монастырском обличье, припомнил, как изумил какого-то труженика в лесу возле Малахайда экстатической молитвой в восточной позе, и, лишь наполовину храня рассудительность под действием ее чар, он спрашивал, не ввергнет ли его в ад Бог католиков за то, что он не сумел раскусить тот самый ходкий товар, что удобным образом позволяет отдавать должное устоям, отнюдь не изменяя сообразно с ними собственной жизни, а равно и не смог оценить пищеварительной ценности таинств.

Среди гостей был старший брат миссис Дэниэл, патер Хили. Он только что вернулся из Соединенных Штатов Америки, где провел семь лет, собирая средства на строительство церкви под Эннискортти. По случаю возвращения его чествовали. Он сидел в кресле хозяина, которое занял по его настоянию, и, легким касанием сложив вместе кончики пальцев, с улыбкой взирал на общество. Это был полный маленький беленький священник, чье тело напоминало новенький теннисный мячик, и когда он сидел в кресле, непринужденно закинув ногу на ногу, он все время быстро качал маленькой полной ножкой, обутой в маленький полный ботинок скрипучей кожи. Он говорил с рассудительными американскими интонациями, и когда он говорил, комната обращалась в слух. Он очень интересовался новым гэльским возрождением и новым литературным движением в Ирландии. Особое внимание он уделял Макканну и Стивену, каждого из них засыпая массой вопросов. Он согласился с Макканном в том, что Гладстон – величайшая фигура девятнадцатого столетия, и тут мистер Дэниэл, весь светившийся гордостью, что ему выпало принимать столь почетного гостя, рассказал весьма достойную историю про Гладстона и сэра Эшмида-Бартлетта, делая низкий голос, дабы изобразить речь великого старца. Во время шарад [он] патер Хили постоянно просил мистера Дэниэла повторять ему остроты, отпускаемые играющими, и то и дело сотрясался от смеха, когда мистер Дэниэл сообщал ему сказанное. Он не упустил ни одной возможности пополнить свои знания о внутриуниверситетской жизни, и каждый намек требовалось расплющить до абсолютной плоскости, прежде чем следовал его удовлетворенный кивок. Напав на Стивена с литератур-

ного фланга, он начал монолог о произведениях Джона Бойла О'Рейли, но, натолкнувшись на чрезмерную учтивость Стивена, принялся порицать систему исключительно книжного образования молодых людей. По этому случаю Стивен начал описывать ему спортивную площадку в колледже и гандбольный матч, и все это со скромностью и серьезностью.

– Теперь я вижу, – сказал патер Хили, хитро склоняя голову набок и взглядывая на юношу добродушно, – я вижу, что из вас выйдет отличный игрок. У вас самое подходящее сложение.

– Ну что вы, – отвечал Стивен, мечтая о присутствии Крэнли, – я совсем скверно играю.

– Это вы только так, – посмеиваясь, сказал патер Хили, – только так говорите.

– Нет, правда, – произнес Стивен, улыбаясь этому зоркому раскрытию его гандбольных талантов и вспоминая ругательства, которыми осыпал Крэнли его игру.

Наконец патер Хили начал позевывать, что было принято как сигнал к подаче присутствующей молодежи ломтиков хлеба с маслом и чашек молока; все как один не пили ничего крепче. Хьюз был умерен даже и до того, что отверг полностью и питье, и еду, несколько огорчив этим Стивена, поскольку ему бы представилось недурное зрелище идеалиста. Макканн, как представитель практического взгляда на жизнь, питался довольно шумно и потребовал варенья. Это заявление заставило от души рассмеяться патера Хили, который никогда не слышал такого, и вызвало у других улыбку, однако Хьюз и Стивен обменялись весьма многозначительными взглядами через «незаселенную» скатерть. Все девушки сидели на одном конце стола, все молодые люди на другом, так что в итоге на одном конце царило веселое оживление, на другом крайняя серьезность. Стивен, после тщетных попыток завязать разговор с незамужней тетушкой семейства, которая исполнила свою миссию, принеся два бокала пунша, один для патера Хили, другой для мистера Дэниэла, отошел молча к пианино и начал играть под сурдинку старинные мелодии, тихонько их напевая себе под нос, пока кто-то из застолья не попросил: «Спойте нам что-нибудь» – после чего он оставил инструмент, вернувшись на диван конского волоса.

Глаза ее очень ярко блестели. Пробираясь путем непрерывного самоанализа, Стивен уже так истрепал себя, что был способен желать только одного, отдохнуть подле ее красоты. Он припомнил те первые настроения чудовищной неудовлетворенности, что владели им при вхождении в дублинскую жизнь, и припомнил, что именно ее красота сумела умиротворить его. Теперь она, казалось, предлагала ему покой. Он спрашивал себя, понимает ли она его, сочувствует ли ему, не является ли вульгарность ее манер лишь сознательной игрой, проявлением снисхождения. Он знал, что отнюдь не ради такого образа создавал он теорию искусства и жизни, сплетал гирлянды стихов, и все же, будь он уверен в ней, он бы мог с большой легкостью относиться и к своим стихам, и к искусству. Его охватила жажда безумной ночи любви, отчаянное желание забросить и свою душу, и искусство, и жизнь, чтоб все это вместе с нею было погребено глубоко в пучине «сладострастной» дремоты. Этот неистовый импульс извергла у него уродливая искусственность тех жизней, над коими уютно царствовал патер Хили, и он без конца твердил себе строку Данте, ради единственного слова, бывшего в ней, гневного двусложного «frode»⁴⁵. Бесспорно, размышлял он, у меня нисколько не меньше оснований применять это слово, чем у Данте. Духи Мойнихана, О'Нила, Глинна казались ему достойны того, чтобы носиться по ветру где-нибудь на краю ада, который был бы карикатурой Дантова. Духи фанатиков нации и религии он считал подходящими, чтобы населять круги обманщиков, где, скрывшись в кельях непорочно чистого льда, они могли бы доводить тела свои до надлежащих пиков неистовства. Духи послушных мирян, не отмеченные ни прегрешеньями, ни заслугами, он бы окаменил в кольце иезуитов, в кругу шальных и нелепых невинностей, а сам бы вознесся над ними и над их огорошенными идолами туда, где его Эмма, не утратив ни одной черточки своего земного образа и убранства, взывала бы к нему из магометанского рая.

⁴⁵ Обман, мошенничество (*um.*).

У дверей ему пришлось уступить ее другим и расстаться, обменявшись пустыми любезностями; и когда он возвращался домой один, в мыслях его роились сомнения и дурные предчувствия. Некоторое время после этого вечера он не встречал ее, поскольку домашняя ситуация стала весьма засасывающей. Пять дней помилования, данные отцу, проходили в волнениях. Шло, казалось, к тому, что семейству негде будет преклонить голову, как вдруг в последний момент мистер Дедал отыскал кров у одного приятеля с Севера страны, служившего коммивояжером у торговца скобяными изделиями. Мистер Уилкинсон имел в своем распоряжении дом старой постройки, где было добрых комнат пятнадцать; формально он снимал этот дом, но, поскольку хозяин, старый скряга, не имевший ни родичей, ни друзей, весьма вовремя скончался, съемщика не обременяли вопросы сроков или оплаты. За малую понедельную плату мистеру Дедалу отведена была часть апартаментов в этом ветшавшем особняке, и накануне назначенной даты выселения, в ночь, он переместил свой лагерь. Скучную сохранившуюся мебель увлекла ломовая телега, а Стивен с братом, матерью и отцом несли отдельно фамильные портреты, не доверяя их возчикам, принявшим за воротник куда более, нежели тот мог вместить. Стояла светлая августовская ночь с освежающим холодком; их маленькая процессия двигалась вдоль дамбы. Айсабел перевезли еще днем, препоручив заботам миссис Уилкинсон. Мистер Дедал, шедший далеко впереди с Морисом, из-за удавшегося маневра был в самом приподнятом настроении. Стивен с матерью следовали позади, и даже у матери было на душе легко. Прилив, достигнувший высшей точки, плескался мягко у дамбы, и в ясном воздухе до Стивена донесся голос отца, подобный приглушенной флейте, поющей песню любви. Он сделал матери знак остановиться, и они вместе, опершись на тяжелые рамы картин, слушали:

Унесет мое сердце к тебе
Унесет мое сердце к тебе
И послушный ночной ветерок
Унесет мое сердце к тебе

В доме мистера Уилкинсона была фешенебельная гостиная, обшитая дубовыми панелями и лишенная всякой мебели, за исключением пианино. Зимой эту гостиную за плату семь шиллингов в неделю по вторникам и пятницам снимал танцевальный клуб; теперь же дальний конец помещения служил складом для образцов скобяной продукции. Мистер Уилкинсон был высокий кривой мужчина молчаливого нрава, с большим талантом пить, не пьянея. Он питал большое почтение к своему гостю, к которому всегда обращался только с приставкой «Мистер». Женат он был на высокой женщине, такой же молчаливой, как он сам, которая поглощала множество любовных романов и свешивалась на добрую половину тела из окна, когда ее двое малышей запутывались в кусках «проволочной сетки или коленях» газовых труб. У нее было длинное белое лицо, и она по любому поводу смеялась. Мистер Дедал и мистер Уилкинсон каждое утро вместе отправлялись в город, а часто и вместе приходили; дневное время миссис Уилкинсон проводила, свесившись из окна или толкуя с посыльными и разносчиками, меж тем как миссис Дедал дежурила у постели Айсабел. Теперь уж не могло быть сомнений, что дела девочки плохи. Ее глаза стали жалостно огромными, а голос глухим, и волосы, влажные на вид, свисали слипшимися прядками вдоль лица; поддерживаемая подушками, она весь день полусидела в постели, листая книжку с картинками. Когда ей говорили поесть или когда кто-то уходил от ее постели, она начинала хныкать. Она [мало] очень редко оживлялась, только когда внизу играли на пианино, и в эти минуты она просила открыть дверь ее комнаты и прикрывала глаза. Денег по-прежнему было мало, а врач по-прежнему предписывал кормить ее деликатесами. Ее затяжная, ползучая болезнь поселила у всех апатию безнадёжности, и сама она, хотя еще почти ребенок, видимо, сознавала это. Один лишь Стивен, упорствуя в деятельной доброте, держался в прежнем бодро-эгоистическом стиле и «тщился

раздуть огонь из тлеющих угольков» ее жизни. Он даже пересаливал немного, и мать корила его, что он так шумно себя ведет. Он не мог войти внутрь сестры и сказать ей: «Живи! Живи!», но старался расшевелить ее душу пронзительным свистом, вибрирующею нотой. Когда он заходил в ее комнату, он всегда задавал ей вопросы с небрежным видом, как если бы ее болезнь не имела важности, и раза два ему с уверенностью казалось, что глаза, смотревшие на него с постели, угадали его намерения.

Лето заканчивалось духотой. Крэнли был все еще в Уиклоу, а Линч начал готовиться к какому-то экзамену в октябре. Стивен слишком был поглощен собой, чтобы помногу разговаривать с братом. Через несколько дней Морис должен был вернуться в школу, с задержкой на две недели по причине, которую он именовал «одежно-обувным заболеванием». В доме мистера Уилкинсона тянулась повседневная жизнь – миссис Уилкинсон свешивалась из окна, а миссис Дедал сидела у постели дочери. Зачастую мистер Уилкинсон доставлял своего гостя домой после основательного загула, и приятели проводили остаток вечера на кухне, шумно дискутируя о политике. Огибая угол, Стивен уже с улицы нередко мог слышать зычные возгласы отца или [голос] звук отцовского кулака, трахающего по столу. Когда он входил, спорщики спрашивали его мнение, но он неизменно поглощал, что было на ужин, без комментариев и [поднимался] удалялся к себе; поднимаясь по лестнице, он мог слышать, как отец говорит мистеру Уилкинсону: «Со странностью малый, знаешь ли, со странностью!» – и мог себе при этом представить тяжело уставившийся взгляд⁴⁶ последнего.

Стивен был очень одинок. Снова, как и в начале лета, он в рассеянности бродил по улицам. Эмма отправилась на Аранские острова с гэльской группой. Едва ли он был несчастен, однако не был и счастлив. Его настроения по-прежнему поджидались и пестовались и отличались во фразы стихов и прозы: и когда его стопы были слишком усталыми [или] настроение слишком «смутным воспоминаньем» или слишком робкой надеждой, он забредал в помпезную просторную пыльную гостиную и усаживался за пианино, «окутанный бессолнечным полусумраком.» Он ощущал этот безнадежный дом вокруг себя, над собой, ощущал увядание листвы и в душе своей единственную яркую звезду радости, трепещущую и готовую угаснуть. Аккорды, что уплывали к паутинным тенетам, к старому хламу, что уплывали бесцельно к пыльным окнам, были бессмысленными голосами его смятения, и все, что могли они, это уплывать бессмысленной чередой чрез все покои чувствительности. Он дышал воздухом могил.

Даже ценность собственной жизни стала сомнительной для него. Он тыкал пальцем в каждую ложь, которая заключалась в этой жизни: эгоизм, что с вызовом красовался перед людьми, но пугался малейших укоров совести, свобода, что заново обрядила бы мир в наряды и обычаи, рожденные рабством, мастерство искусства, понимаемое немногими и самой своею изысканностью обязанный физическому упадку, который в свою очередь есть клеймо и знак вульгарных страстей. Кладбища раскрывали для него свои бесплодные реестры, «реестры всех жизней, что с охотой или без охоты предстали уже пред открывшимся божеством. Видения всех этих крушений и еще стократ более прискорбные видения жизней, от рожденья тупо влачащихся вперед, то зевая, то завывая, завладевали им как наваждение зла: и зло, в обличье извращенного ритуала, взывало к его душе совершить блуд с ним.

Однажды вечером он сидел [молча] за пианино; сумерки облекали его. Печальный закат тленьем ржавоцветных огней еще задержался в окнах. Над ним и вокруг него веяли тени увядания, увядания листьев и цветов, увядания надежд. Он перестал брать аккорды и, склонясь над клавишами, в молчаньи ждал: и его душа смешалась с наплывающими невыразимыми сумерками. Силуэт, в котором он узнал мать, возник в глубине комнаты, остановившись в дверях. В сумерках взволнованное лицо ее было багровым. Голос, который он помнил как голос матери,

⁴⁶ На полях карандашом стоит: «Глаз».

голос потрясенного ужасом человеческого существа, позвал его по имени. Силуэт у пианино ответил:

– Да?

– Ты что-нибудь знаешь про тело?

Он слышал, как голос матери взволнованно обращается к нему, словно голос вестника в драме:

– Что надо делать? Там что-то такое течет у Айсабел из отверстия... в животе... Ты не слышал никогда, чтобы такое случилось?

– Не знаю, – ответил он, пытаясь понять ее слова, пытаясь их повторить еще раз про себя.

– Надо, наверно, за врачом... Ты слышал когда-нибудь про такое?.. Что надо делать?

– Не знаю... Какое отверстие?

– Отверстие... отверстие, которое у нас всех... тут.

XXII

Стивен присутствовал в комнате, когда сестра умирала. Как только мать забила тревогу, было послано за священником. То был крошечный человечек, который носил голову преимущественно на правом плече и говорил, сильно пришепывая, так что его было нелегко понять. Он принял исповедь у девочки и отбыл обратно, приговаривая: «Положимся на Господа – Ему лучше ведомо – положимся на Господа». Доктор приехал в кэбе с мистером Дедалом, осмотрел девочку и спросил, приходил ли к ней священник. Он отбыл, приговаривая, что, пока есть жизнь, есть надежда, но больная очень слаба; он зайдет утром. Айсабел умерла вскоре после полуночи. Отец, слегка нетрезвый, ходил по комнате на цыпочках, всхлипывал короткими всхлипами, как только у дочери менялось лицо, и повторял: «Ну давай, утеночек, ну возьми», когда мать пыталась дать ей глоток шампанского, потом начинал кивать головой, потом опять всхлипывал. Он также все время говорил всем, чтобы ее ободряли. Морис уселся у потухшего камина, уставившись на его решетку. Стивен сидел у изголовья сестры, держа ее за руку, мать склонялась над ней, подносила к губам стакан, целовала дочь и молилась. Стивену казалось, что Айсабел очень повзрослела и постарела; ее лицо стало лицом женщины. Она постоянно переводила глаза от одной из двух ближайших фигур к другой, будто пытаясь сказать, что с ней поступили плохо, дав ей жизнь, и, по слову Стивена, послушно глотала все, что давали ей. Когда она стала уже не в состоянии глотать, мать сказала ей: «Любовь моя, ты уходишь домой. Ты уходишь на небо, и там мы все снова встретимся. Ты знаешь ведь?.. Да, любовь моя... На небе, с Богом...» и дитя недвижно остановило огромные глаза на лице матери, а ее грудь под одеялом начала с шумом вздыматься.

Стивен ощущал с большой остротой всю тщету жизни своей сестры. Он был готов сделать многое для нее, и, хотя она была для него почти чужой, зрелище ее смерти вызывало его скорбь. Ему представлялось, что жизнь – дар; утверждение «Я жив» звучало для него некой достоверностью, меж тем как множество вещей, которые считаются несомненными, для него были недостоверны. Сестра ощутила жизнь только лишь как факт, не вкусив ни единого из ее плодов. Представление о многомудром Боге, который призывает душу к себе, когда он это сочтет благим, нисколько не искупало в его глазах этой тщеты ее жизни. Иссякшее тело, покоившееся пред ним, существовало в претерпевании, обитавший в нем дух никогда в буквальном смысле не дерзал жить и ничему ровно не был научен теми лишениями, которых вовсе не выбирал сам себе. Сама по себе она не была ничем и по этой причине не порождала привязанности к себе и сама ни к чему не привязалась. Когда они вместе росли детьми, люди говорили «Стивен с Морисом», а ее имя вспоминали не сразу. Даже имя ее, какое-то безжизненное, оставляло ее в стороне от игр жизни. Ему припомнились детские голоса, вопящие ликующе и нахально:

Стивен, ты Ривен, ты Рикс-Дикс-Дивен

но ее имя выкликалось всегда с деланным ликованием и неуверенным нахальством:

Айсабел, ты Райсабел, ты Рикс-Дикс-Дайсабел.

Смерть Айсабел собрала в дом многих родственников миссис Дедал. Они с некоторой робостью стучались в дверь, и, хотя держались скромно и незаметно, хозяин за глаза обвинял их – женщин, по крайней мере, – в том, что они шныряют пронырливыми глазами. Мужчин он принимал в длинной пустой гостиной, где камин зажигали раньше времени. Две ночи, когда устраивали поминки, в гостиной собиралось большое общество; они не курили, но выпивали и рассказывали истории. [Каждое] Наутро стол выглядел как судовой склад, по обилию пустых черных и зеленых бутылок. Братья Айсабел тоже сидели на поминках. Разговор часто был общим. Один их дядюшка был астматик с лохматой копной волос, который в молодости нечто

себе позволил с дочкой своей квартирной хозяйки и еле умиротворил ее семейство, срочно женившись. Один из приятелей мистера Дедала, клерк в уголовном суде, рассказывал, какая работа у одного его друга в муниципалитете, которому полагалось рассматривать запрещенные книги.

– Этакая грязь, – говорил он. – Удивительно, как у кого-то хватает наглости такое печатать.

– Когда я мальчишкой был, – сказал дядя Джон с очень простонародным выговором, – у меня охоты до книжек было куда поболее, чем сейчас, а монеты куда помене, и вот я захаживал в книжную лавку у Патрик-Клоуз. Однажды пришел я туда за «Коллин Бон»⁴⁷. Приказчик меня подзывает поближе и показывает книжку...

– А, знаю, знаю, – сказал клерк из уголовного суда.

– Давать такую книгу в руки молодому парню! Подсовывать ему в голову такие мысли! Чистый скандал!

Морис переждал выражения уважительной солидарности и спросил:

– А вы купили эту книгу, дядя Джон?

Все, казалось, собрались рассмеяться, однако дядя Джон, побагровев, с возмущением заключил:

– Тех, кто такие книги продает, под суд надо. А дети надо чтоб знали свое место.

Стоя подле закрытого пианино утром в день похорон, Стивен слышал, как стучается о перила гроб, который несли вниз по лестнице. Провожающие вышли следом за ним на улицу и распределились по четырем каретам. Стивен и Морис вынесли три венка и положили на катафалк. Быстрою рысью процессия двинулась в направлении кладбища Гласневин. У кладбищенских врат стояли в ожидании шесть катафалков. Процессия, что приехала прямо перед ними, была совсем бедной. Провожающие, теснившиеся по шесть человек в открытых каретах, беспорядочно выбирались из них, когда подъехала процессия похорон Айсабел. Участники передней процессии прошли в ворота, возле которых стояла кучка зевак и служителей. Стивен смотрел, как они двигались. Двое запоздавших грубо проталкивались сквозь толпу. «Девочка, держась ручонкой за платье женщины, бежала на шаг впереди нее. Лицо девочки было бесцветное как у рыбы, со скошенными глазами; лицо женщины квадратное и стиснутое, лицо барышницы. Девочка, искривив рот, глядела на женщину снизу вверх: понять, не время ли плакать;» женщина, поправляя плоскую шляпку, спешила к кладбищенской часовне.

В часовне мистеру Дедалу и его друзьям пришлось ждать окончания службы для бедных похорон. Она окончилась через несколько минут; гроб Айсабел внесли и поставили на подставку. Провожающие разошлись по местам и, подстелив носовые платки, скромно преклонили колени. Из ризницы вышел патер с большим жабым брюхом, свисавшим на один бок, за ним мальчик-алтарник. Квакающим голосом он быстро прочитал службу и сонным жестом помахал над гробом метелкой кропила; мальчик в нужных местах писклявил ответные возгласы. Дочитав службу, он закрыл книгу, перекрестился и покачивающейся походкой скрылся обратно в ризницу. Вошли рабочие, перенесли гроб на тележку и покатали ее по песчаной аллее. Смотритель кладбища в дверях часовни обменялся рукопожатием с мистером Дедалом и не спеша последовал за процессией. Гроб гладко опустили в могилу, и могильщики начали швырять землю. При первых стуках комьев мистер Дедал начал всхлипывать, и один из его друзей, подойдя, взял его под руку.

Когда могилу засыпали, могильщики положили свои лопаты на нее сверху и перекрестились. Венки положили на могилу, и после молитвы траурная процессия зашагала назад по аккуратным аллеям кладбища. Неестественное напряжение скорби несколько спало, и разговоры снова вернулись к жизненным материям. Все разместились по каретам и двинулись в обрат-

⁴⁷ «Девушка с красивыми волосами» (ирл.), популярная мелодрама (1859) Дайона Бусико.

ный путь по Гласневин-роуд. На углу Данфи, где стояли уже кареты с других похорон, сделали остановку. У стойки мистер Уилкинсон выставил всем по первой; позвали кучеров карет, и они стали кучкой у дверей, отирая рукавом костистые выдубленные лица. Когда их спросили, что они будут пить, все выбрали по пинте – и поистине телесные оболочки их сродни были малоупотребительной ныне мерной оловянной кружке. Участники похорон, большей частью, взяли по маленькой какого-нибудь напитка. Стивен, когда о выборе выпивки спросили его, ответил без колебаний:

– Пинту.

Отец его прервал свою речь и пристально уставился на него, однако Стивен, чувствуя себя слишком безразличным ко всему, чтобы прийти в смущение, принял свою пинту с полной серьезностью и выпил ее в один долгий прием. Запрокинув заслоненную кружкой голову, он сознавал изумленное внимание отца и остро чувствовал в горле вкус кладбищенской горькой глины.

Жалкое и невыразительное погребенье сестры склоняло Стивена принять всерьез права воды и огня быть последним пристанищем мертвых тел. Вся устроенная государством машина казалась ему здесь от начала и до конца порочной. Ни один молодой человек не может созерцать факт смерти с великим удовлетворением, и ни один молодой человек, коего судьба или случай, ее сводный брат, приспособили быть органом чувствительности и интеллектуальности, не может созерцать ту сеть пошлости и фальши, из которой состоят похороны умершего горожанина, без великого отвращения. Некоторое время после похорон Стивен, одетый в черную поддержанную одежду двух разных тонов, должен был принимать изъявления сочувствия. Многие из них исходили от отдаленных знакомых семьи. Почти все мужчины говорили: «И как только держится бедная ваша мать?», а почти все женщины – «Это огромное испытание для вашей бедной мамы», и все это произносилось всегда одинаково апатично и монотонно. Сочувствие выразил и Макканн. Он подошел к Стивену, когда сей юноша разглядывал галстуки в витрине галантерейного магазина, размышляя, отчего китайцы выбрали в качестве траурного цвета желтый⁴⁸. Он энергично потряс руку Стивена:

– Я с такой печалью узнал о смерти твоей сестры... мы, к сожалению, слишком поздно услышали... не могли быть на похоронах.

Стивен, постепенно высвобождаясь из пожатия, сказал:

– О, она еще была маленькая... девочка.

Макканн, освобождая его руку с тою же постепенностью, сказал:

– И все-таки... это причиняет боль.

Как показалось Стивену, в этот момент достигнуто было акмэ неубедительности.

Второй год университетской жизни Стивена начался в первых числах октября. Его крестный не выразил никакого мнения по поводу результатов первого года, но Стивену было сказано, что ему дается последняя возможность. В качестве дополнительного предмета он выбрал итальянский язык, отчасти из желания серьезно прочесть Данте, а отчасти – чтобы избежать давки на лекциях по французскому и немецкому. Кроме него, никто больше в колледже не изучал итальянский, и раз в каждые два дня он являлся в колледж к десяти утра и поднимался в жилой покой патера Артифони. Отец Артифони был маленьким умным того из Бергамо, городка в Ломбардии. У него были ясные живые глаза и полный мясистый рот. Каждое утро, при стуке Стивена в дверь, [он] за нею слышался шум передвигаемых стульев, прежде чем раздавалось «Avanti!». Маленький священник никогда не читал в сидячей позе, и шум, доносившийся до Стивена, был шумом возвращения импровизированного пюпитра к его составным частям, твердому бювару и паре плетеных стульев. Уроки нередко длились более часа, и фило-софия обсуждалась на них гораздо более, чем грамматика и литература. Учитель был, веро-

⁴⁸ Это слово зачеркнуто, и красным карандашом вписано «белый».

ятно, осведомлен о сомнительной репутации ученика, но именно по этой причине он избрал с ним язык простодушной набожности – не то чтобы он был достаточно иезуитом, чтобы не иметь простодушия, но он был достаточно итальянцем, чтобы находить удовольствие в игре веры и неверия. Однажды он сделал выговор своему ученику за восхищенный намек на автора «Изгнания торжествующего зверя».

– Вы знаете, – сказал он, – этот сочинитель, Бруно, был ужасным еретиком.

– Да, – ответил Стивен, – и он был ужасно сожжен.

Но учитель был дурным инквизитором⁴⁹. С видом великого лукавства он рассказал Стивену, что, когда он и его собраты из духовенства посещали публичные лекции в университете, остроумный профессор сдобривал всегда свою тему толикой перца. Отцу Артифони этот перец доставлял наслаждение. В отличие от многих граждан третьей Италии, он не питал особой симпатии к англичанам и склонен был снисходительно относиться к дерзостям своего ученика, которые, как он предполагал, были проявлениями чрезмерно пылкой ирландскости. По его представлениям, дерзость мысли не могла связываться ни с каким направлением, кроме ирредентизма.

Однажды в разговоре со Стивеном отцу Артифони пришлось признать, что для взора Божия даже самый предосудительный момент людских наслаждений будет благим, коль скоро было доставлено удовольствие человеческому существу. Разговор шел об одном итальянском романе. Один из здешних иезуитов прочел его и за общей трапезой осудил – назвал плохой книгой. Стивен же настаивал, что роман, во всяком случае, доставил ему эстетическое удовольствие, и в силу этого он мог быть назван хорошей книгой:

– Патер Берн так не думает.

– А Бог?

– Для Бога он, может быть, и... хорош.

– Тогда я принимаю сторону противника отца Берна.

У них возник весьма острый спор о благом и прекрасном. Стивен хотел исправить или прояснить схоластическую терминологию: противоречие между благим и прекрасным не является необходимостью. Фома определил благо как то, к обладанию чем направляется влечение, как желанное. Однако истинное и прекрасное желанны, они суть высшие и наиболее незыблемые порядки желанного, поскольку истина есть предмет интеллектуального влечения, какое насыщается наиболее удовлетворительными соотношениями умопостигаемого, красота же – предмет эстетического влечения, каковое насыщается наиболее удовлетворительными соотношениями чувственного. Отца Артифони необычайно восхищало, с каким воодушевлением Стивен придавал жизнь философским обобщениям, и он всячески побуждал юношу написать трактат по эстетике. Для него было, видимо, большим удивлением найти в здешних краях молодого человека, который отказывался представить себе разрыв союза между искусством и природой, причем отказывался не по причинам климата или темперамента, а по основаниям интеллектуальным. Для Стивена искусство не было ни копией природы, ни подражанием ей: художественный процесс он считал природным процессом. Во всех его речах о художественном совершенстве невозможно было обнаружить никакой искусственности. Говорить о совершенстве чьего-либо искусства для него означало не говорить о чем-то, что согласились считать возвышенным, но что в действительности было только возвышенною условностью, а скорей говорить об истинно возвышенном проявлении природы художника – проявлении, которое имело право на рассмотрение и открытое обсуждение.

Именно этот живой интерес толкал его держаться подальше от таких рассадников неизящной праздности, как дискуссионный клуб и братство, уютно обложившееся подушками. В ноябре в актовом зале состоялась вступительная речь мистера Мойнихана. Ректор, в окру-

⁴⁹ В рукописи стоит: «инквизиционером». Слово «инквизитор» написано на полях рукой Станислава (?).

жении профессоров, занял председательское место. За столом восседали видные лица, а зал предоставлен был разношерстным интеллигентам, в зимний период кочующим с одного заседания на другое и не пропускающим ни единого театрального представления, которое шло бы не на английском языке. В дальнем конце зала толпились студенты колледжа. Девять десятых из них были необычайно серьезны, а девять десятых из оставшихся проявляли серьезность время от времени. Перед зачитанием речи ректор вручил за успехи в искусстве красноречия золотую медаль Хилану и серебряную медаль одному из сыновей мистера Дэниэла. Мистер Мойнихан был в вечернем костюме, и волосы его были завиты спереди. [Ректор похлопал ему] Когда он поднялся, чтобы приступить к речи, ректор похлопал ему, и зал следом за ним тоже похлопал. Речь Мойнихана демонстрировала, что истинное утешение страждущим несет не своекорыстный демагог, с его невежеством и безнравственностью, а Церковь и что истинный путь к улучшению участи трудящихся классов доставляет не проповедь неверия в гармоническое единство духовного и материального царств, но проповедь смиренного следования жизни Того, кто был другом всем людям, великим и малым, богатым и бедным, грешникам и праведникам, ученым и неученым, Того, кто был хотя и превыше всякого человека, но был кротчайшим из всех. Мойнихан также намекнул на странную кончину французского писателя-атеиста, давая понять, что Эммануил решил покарать возмездием неудачливого джентльмена, выведя незаметно из строя его газовую плиту.

В числе выступавших после речи были судья, заседавший в суде одного из графств, и отставной полковник ретроградных взглядов. Все ораторы воздавали хвалу трудам отцов-иезуитов, подготавливающих для Ирландии такую молодежь, что способна подняться высоко в жизни, – и главный оратор вечера приводился в качестве лучшего примера. Заняв вместе с Крэнли позицию в углу зала, Стивен оглядывал ряды студентов. Все лица, сейчас собранные и серьезные, несли одинаковую печать иезуитской выучки. По большей части они были свободны от наиболее вопиющих проявлений юношеской неотесанности; не были лишены некоторого искреннего, неагрессивного «отвращения к порокам юности.»⁵⁰ Они восхищались Гладстоном, успехами физики и трагедиями Шекспира и верили в приложимость католического учения ко всем повседневным нуждам, посредством дипломатического языка Церкви. Не обнаруживая английской тяги к состоятельной аристократии, они считали насильственные меры неподобающими и в своих отношениях между собой и со старшими выказывали некий нервический и – когда речь заходила о власти – чрезвычайно английский либерализм. Они уважали власти духовные и светские: духовную власть католицизма и патриотизма, светскую же – правительства и начальства. Память Теренса Макмануса чтилась ими не в меньшей мере, нежели память кардинала Коллена. Если призыв к более раскованной и благородной жизни, случалось, доносился до них, они прислушивались к нему с тайной радостью, но неизменно решали отложить свои жизни до некоего благоприятного момента, чувствуя себя еще не готовыми. Они со вниманием слушали всех ораторов и аплодировали, едва раздавались упоминания ректора, Ирландии или католической веры. В середине заседания в зал проник, спотыкаясь, Темпл и представил Стивену своего друга:

– Звиняюсь, это вот Фиц, славный малый. Он от вас в восторге. Звиняюсь, что я вас знакоблю, славный малый.

Стивен и Фиц, юноша с пепельными волосами и удивленным выражением на покрасневшем лице, пожали друг другу руки. Фиц и Темпл прислонились ради устойчивости к стене, оба стоя не совсем твердо на ногах. Фиц начал тихо подремывать.

– Он революционер, – объяснил Темпл Стивену и Крэнли. – Ты, Крэнли, знаешь, мне сдается, ты тоже революционер. Революционер, а?.. Ага, убей бог, станешь ты на такое отвечать... А вот я революционер.

⁵⁰ Здесь на полях написано почерком Станислава (?) «Требуется изменения».

В этот момент раздались аплодисменты, потому что оратор упомянул имя Джона Генри Ньюмена.

– Это там кто, – Темпл принялся спрашивать всех вокруг, – кто-то этот чудак?

– Полковник Рассел.

– А, так это полковник... А что он сказал? Что он сказал такое?

Ответа не последовало, и он продолжал спотыкаться через бессвязные вопрошания – пока наконец, не сумев выяснить образ мыслей полковника, возгласил: «Ура, в сапоге дыра!» – после чего спросил у Крэнли, не согласится ли тот, что полковник – «жулик паршивый».

Учебой Стивен занимался во второй год еще менее регулярно, чем в первый. На лекции он ходил чаще, однако в Библиотеке за чтением сидел реже. «Vita Nuova» Данте навела его на мысль собрать свои разбросанные любовные стихи в совершенный венок, и он пространно разъяснял Крэнли трудности стихотворчества. Эти стихи доставляли ему удовольствие: он писал их с большими перерывами, лишь тогда, когда его побуждала писать некая вызревшая и осмысленная эмоция. Но в выражениях своей любви он оказывался вынужден употреблять то, что он именовал «феодальной терминологией», – и поскольку он не мог употреблять ее с той же истовой верой и той же целью, какие одушевляли феодальных поэтов, он вынуждался выражать свою любовь с долей иронии. Эта интуиция относительности – говорил он, – смешиваясь со столь самовластной страстью, создает современную ноту: мы не способны ни присягать на вечную верность, ни рассчитывать на нее, ибо слишком отчетливо представляем пределы любых человеческих проявлений. В наши дни влюбленный не может уже представлять себе всю вселенную соучастницей своего романа, и современная любовь, утратив отчасти свою неистовую силу, обретает зато больше ласковой мягкости. Крэнли все это отвергал: для него различие между древним и современным было пустым звуком, поскольку у него в голове и прошлое и настоящее присутствовали низведенными до уровня утрированной низости. В пику ему, Стивен пытался доказывать, что хотя человечество, пожалуй, и не могло измениться до неузнаваемости за те короткие эпохи, что известны как исторические периоды, но все же в разные периоды господствуют разные идеи, и любая самая малая активность, производимая в эти периоды, зачинается и направляется этими идеями. Различие между феодальным духом и духом современного человечества – доказывал он – это не измышление литераторов. Крэнли, подобно многим циничным романтикам, убежден был, что общественная жизнь никак не влияет на жизнь индивидуальности и что люди вполне способны сохранять древние суеверия и предрассудки посреди всей современной машинерии; точно так же человек может жить, приспособившись к армадам техники, и тем не менее в душе оставаться бунтовщиком против всего этого порядка, который он сам поддерживает. Человеческая натура – величина постоянная. Что же до плана составления венка песен во славу любви, он находил, что если и существует в реальности такая страсть, она заведомо не может быть выражена.

– Мы вряд ли узнаем, существует она или нет, если никто не будет пытаться ее выразить, – сказал Стивен. – Нам не на чем ее проверить.

– А как ты можешь ее проверить? – отвечал Крэнли. – [Иисус] Церковь говорит, что проверка дружбы – это посмотреть, отдаст ли человек свою жизнь за друга.

– Но ты-то, конечно, в это не веришь?

– Не верю – это треклятое дурачье готово умереть за что угодно. Взять хоть Макканна – этот бы умер из чистого упрямства.

– Ренан говорит, что человек идет на мученичество только ради того, в чем он не вполне уверен.

– Даже в нашу современную эпоху люди умирают за две палки, соединенные крест-накрест. Что такое крест, как не простые две палки?

– Да, если хочешь, любовь, – сказал Стивен, – это название для чего-то невыразимого... Хотя нет, я не соглашусь... я думаю, вот что могло бы стать проверкой любви: посмотреть, что на нее дают в обмен. Что люди дают, когда любят?

– Свадебный обед, – сказал Крэнли.

– Свои тела, правда же, – и это самое малое. Любовь – это что-то, за что отдают тело, пусть хотя бы внаем.

– Ты, значит, думаешь, что женщины, которые отдают свои тела, как ты выражаешься, внаем, любят мужчин, которым они их отдают?

– Когда мы любим, мы отдаем. В каком-то смысле они тоже любят. Мы что-нибудь отдаем – шляпу-цилиндр или сборник нот или свое время и труд или свое тело – в обмен на любовь.

– Меня б до черта больше устроило, если б эти самые женщины отдали мне цилиндр, чем ихние тела.

– Дело вкуса. Тебе, может, нравятся цилиндры. Мне нет.

– Дружище, – сказал Крэнли, – ты ж ничего ровным счетом не знаешь о человеческой натуре.

– Я знаю парочку простых вещей, и я их выражаю в словах. Я испытываю эмоции, и я их выражаю в рифмованных строчках. Песня – простое ритмическое высвобождение эмоции. Любовь может частично выражаться в песне.

– Ты все идеализируешь.

– Когда ты это говоришь, мне вспоминается Хьюз.

– Ты воображаешь, будто люди на все это способны... на эти все прекрасные штучки. Ни черта. Погляди на девиц, каких ты встречаешь каждый день. И ты считаешь, они поймут, чего ты толкуешь о любви?

– Не знаю, честно сказать, – молвил Стивен. – Девиц, каких я встречаю каждый день, я не идеализирую. Я их отношу к отряду сумчатых... Но как бы там ни было, я должен выразить мою природу.

– Пиши свои стихи в таком случае, – сказал Крэнли.

– Я чувствую дождь, – сказал Стивен, останавливаясь под раскидистой веткой в ожидании падающих капель.

Остановясь подле него, Крэнли наблюдал его позу с выражением горького удовлетворения на лице.

В своих блужданиях Стивен набрел на старую библиотеку, расположенную в гуще тех запущенных улочек, что называются старым Дублином. Библиотека основана была архиепископом Маршем, и, хотя была открыта для публики, весьма немногие, как видно, подозревали о ее существовании. Служитель, [был] в восторге от появления чаемого читателя, показал Стивену углы и ниши, населенные пыльными бурами томами. Стивен заходил туда несколько раз в неделю читать старые итальянские книги Треченто. Он начал интересоваться францисканской литературой. Не без сочувственной жалости он наслаждался легендой о мягкосердом ересиархе из Ассизи. Он сознавал в душе, что цепи любви святого Франциска удержат его не слишком надолго, но итальянский был так причудливо-изящен. Илия и Иоахим также оживляли наивную историю. На какой-то тележке с книгами у реки он обнаружил неизданный сборник, где были два рассказа У. Б. Йейтса. В одном из них, что назывался «Скрижали закона», упоминалось легендарное предисловие, коим Иоахим, аббат Флоры, якобы предварил свое Вечное Евангелие. Эта находка, столь удачно совпавшая с его собственными поисками, подтолкнула его к еще более упорным францисканским штудиям. Каждое воскресенье он шел вечером в церковь капуцинов, куда он однажды снес постыдное бремя грехов своих, дабы облегчиться от него. Его не коробили процессии ремесленников и рабочих, обходившие вокруг церкви, и проповеди священников были приятны ему в той мере, в какой проповедник не пускался во все тяжкие, показывая свое ораторское искусство, и не тщился выказать себя, хотя бы в

теории, человеком светским. В своих ассизских настроениях он думал, что эти люди могут оказаться ближе других к его целям: и однажды вечером во время беседы с капуцином ему много раз пришлось подавлять в себе навязчивое желание взять этого священника под руку и, прохаживаясь с ним по дворику церкви, выложить ему напрямик всю историю из «Скрижалей закона», которая отпечатлелась в памяти его от слова до слова. С учетом общего отношения Стивена к Церкви, подобное желание было, без сомнения, глубоко заразительно, и, чтобы его исцелить, требовались большие усилия его разумного оппонента. Он удовольствовался тем, что повел Линча прохаживаться по площадке за цепями в Стивенс-Грин и привел юношу в крайнее замешательство, продекламировав ему рассказ мистера Йейтса с большим старанием и воодушевлением. Вначале Линч заявил, что ничего в рассказе не понял, однако позднее, уютно устроившись в «шалманчике», сообщил, что чтение доставило ему грандиозное удовольствие.

– Эти монахи – достойные люди, – говорил Стивен.

– Народ круглый, в теле, – принимал Линч.

– Достойные. Я тут недавно пошел в их библиотеку. Добраться туда, это было целое дело – все монахи высыпали из всех углов и стали пялиться на меня. Отец [настоятель] хранитель спрашивает, что мне надо. Потом завел меня внутрь и потратил кучу труда на всю эту возню с книгами. А ты учти, это был тучный патер, и притом только что пообедал, так что уж тут была на самом деле добрая расположенность.

– Славный, достойный человек.

– Абсолютно не знал, что мне надо, зачем мне надо, но корпел однако вовсю – водит пальцем по одной странице, потом по другой, пыхтит и бормочет себе под нос «Якопоне, Якопоне, Якопоне, Якопоне». Ты согласен, что у меня есть чувство ритма?

Стивен любил по-прежнему превращения, приносимые сумерками. В Дублине поздняя осень и зима – пора всегда сырой и мрачной погоды. Он бродил по улицам вечерами и скандировал про себя фразы. Часто он повторял «Скрижали закона» или другой рассказ, «Поклонение волхвов». Воздух этих рассказов был насыщен воскурениями и предзнаменованиями, и тени странствующих монахов Ахерна и Майкла Робартиса перемахивали сквозь него гигантскими махами. Их речи были подобны загадкам высокомерного Иисуса; мораль их была недочеловеческой или сверхчеловеческой: ритуал, которому они придавали такую важность, был столь разнородным и бессвязным, был такой странной смесью банальностей и священнодействий, что в нем явно можно было узнать ритуал тех, кто воспринял от верховных жрецов, [которые некогда были] издревле повинных в изрядной надменности духа, некую смутную и обесчеловеченную традицию, таинственное посвящение. Цивилизацию можно, в самом деле, назвать созданием своих изгоев, однако самый незначительный протест против существующего порядка исходит от изгоев, чье кредо и образ жизни не способны к обновлению до такой степени, что могут считаться реакционными. Они образуют свою отдельную церковь; они устало вздымают свои кадила перед заброшенными алтарями; они обитают за пределами смертности, избрав исполнение закона своего особого бытия. Молодой человек, подобный Стивену, в такую пору смуты и сырости без труда способен поверить в реальность их существования. Они с жалостью склоняются над землей, подобные испарениям, жаждущие греха, помнящие о своих гордых истоках и призывающие к себе других. Стивену доставляло величайшее наслаждение твердить про себя одно прекрасное место из «Скрижалей закона»: Отчего убегаете вы от наших светильников, чья древесина – от тех деревьев, под которыми стенал Христос в Саду Гефсиманском? Отчего убегаете вы от наших светильников, сделанных из нежного дерева, когда оно исчезло из мира и явилось к нам, и мы создали его собственным дыханием из старинных напевов?

Известный выверт начал окрашивать его жизнь. Он сознавал, что, хотя номинально он пребывал в мирных отношениях с общественным порядком, в лоне которого был рожден, далее это не сможет продолжаться. Жизнь скитальца казалась ему несравненно достойней, чем жизнь

того, кто примирился с тиранией посредственности, увидав, что быть исключительным обходится слишком дорого. Юное поколение, которое он видел подраставшим вокруг, считало его проявления духовной деятельности более чем неприличными, и он знал, что под личиной боязливой приветливости представители власти лелеют надежду, что его необузданная натура заведет его в самый плачевный конфликт с реальностью и тогда в один прекрасный день они получат удовольствие официально препроводить его в приют безумцев. Такой финал не был бы необычным, ибо чрезмерная дерзновенность юности нередко приводит к преждевременной дряхлости, и с достоверностью доказано, что смелость [де Нерваля] поэта дурно оправдывает ожидания, когда побуждает его водить омара на ярко-голубом поводке по тротуару, отведенному для прогулок граждан. Он остро сознавал, какие зловещие опасности таит в себе поза экстравагантного выверта, однако был убежден, что тупое отправление обязанностей, равно непонятных и неприятных, несет гораздо больше опасностей – и при этом гораздо меньше удовлетворения.

– Церковь уверена, что в каждом своем действии человек стремится к какому-то благу, – сказал Крэнли. – Трактирщик хочет сколотить капитал, Хилан хочет стать судьей в Окружном суде, та девушка, с которой я тебя видел вчера...

– Мисс Клери?

– Она хочет мужа и уютный домик. Миссионер хочет обратить язычников в христианство, библиотекарь Национальной Библиотеки – обратить дублинцев в читателей и студентов. [Какое благо] Мне понятно, какого блага ищут все эти люди, но чего ищешь ты?

– Церковь проводит различие между благом, которого ищет человек такого типа, и благом, которого ищу я. Существует *bonum simpliciter*⁵¹. Так вот, те, о которых ты говоришь, ищут благо этого рода, потому что ими движут прямые страсти – [очевидные] прямые, даже если и низменные: похоть, честолюбие, чревоугодие. Я же ищу *bonum arduum*⁵².

– А оно может оказаться *bonum* еще более *simpliciter*. По-моему, ты сам не знаешь, – сказал Крэнли.

⁵¹ Добро просто (лат.).

⁵² Добро труднодостижимое (лат.).

XXIII

В этот период происходили кое-какие волнения в политических кругах, связанные с деятельностью Королевского университета. Было предложено создать комиссию для рассмотрения вопроса. Иезуитов обвиняли в том, что они направляют эту деятельность в своих целях, пренебрегая беспристрастной справедливостью. Чтобы опровергнуть обвинение в обскурантизме, разрешили начать выпуск ежемесячного журнала под руководством Макканна. Свежеиспеченный редактор был полон воодушевления.

– У меня уже собрано почти на весь первый номер, – сообщил он Стивену. – Я уверен, нас ждет успех. Хочу, чтобы ты нам написал что-нибудь для второго номера – только чтобы можно было понять. Прояви каплю снисходительности. Теперь ты уже не скажешь, что мы такие варвары, – у нас свой журнал. Мы можем выражать свои взгляды. Напишешь нам что-нибудь, хорошо? В этом месяце у нас статья Хьюза.

– Конечно, у вас и цензор есть? – спросил Стивен.

– Понимаешь ли, – сказал Макканн, – первый, кто выдвинул идею журнала, это был отец Камминс.

– Глава вашего братства?

– Ну да. Он выдвинул эту идею, так что поэтому он выступает как бы ответственным за нас.

– Значит, он и есть цензор?

– У него есть полномочия, но он вовсе не узколобый человек. Тебе его незачем опасаться.

– Понятно. А скажи, пожалуйста, мне заплатят?

– Я думал, что ты идеалист, – отвечал Макканн.

– Удачи вашему органу, – молвил Стивен, помахав прощально рукой.

В первом номере журнала Макканна содержалась длинная статья Хьюза «Будущее кельтов». Там содержалась также статья сестры Глинна, написанная по-ирландски, и редакционная статья, в которой Макканн повествовал об истории возникновения журнала. Она начиналась так: «Главе нашего братства пришла счастливая мысль соединить все разнообразные стихии жизни нашего колледжа, открыв им возможность обмена идеями и взаимной критики на страницах университетского журнала. Благодаря усилиям и стараниям отца Камминса, исходные трудности были преодолены, и мы появляемся перед публикой с приветствием и с надеждой, что публика нас выслушает». Были в номере и несколько страниц сообщений из спортивных клубов и интеллектуальных кружков, где прохаживались по адресу разных знаменитостей, прозрачно скрытых под латинизированными фамилиями. «Медицинские заметки» за подписью «Н₂О» [и] состояли из нескольких поздравительных абзацев о студентах-выпускниках медицинского факультета и нескольких восхвалительных – о милых и добрых профессорах. Имелись также стихи под названием «Девушка-товарищ» (песнь ласточки в полете), подписанные «Тога Девичис».

Стивену новый журнал показал в Библиотеке Крэнли, который, судя по всему, прочел его от корки до корки. С большой настойчивостью, невзирая на нетерпеливые восклицания, Крэнли протащил друга по всем разделам. «Медицинские заметки» извергли у Стивена такой взрыв приглушаемых ругательств, что Крэнли начал хохотать, прикрываясь страницами журнала, и краснолицый священник, сидевший напротив, воззрился на них с негодованием поверх своего номера «Тэблет». В портике Библиотеки стояли кучка юношей и кучка девушек; экземпляры новинки были у всех. Все болтали, смеялись, и медлили расходиться под предлогом дождя. Макканн, быстрый и возбужденный, в велосипедном кепи, сдвинутом набекрень, сновал между группами. Завидев Стивена, он подошел к нему с выжидающим видом.

– Ну как? Ты видел...?

– Это великий день для Ирландии, – произнес Стивен, заведая рукою редактора и с торжественностью пожимая ее.

– Ну... все-таки это кое-что, – ответил Макканн с раскрасневшимся лбом.

Прислонясь к одной из колонн, Стивен стал смотреть на группу поодаль. Там, в кольце подруг, стояла она, смеясь и болтая с ними. Гнев, которым наполнил его новоявленный журнал, ниспадал плавно, как прилив, и он решил увести свой ум к тому зрелищу, что являли она и ее подруги. Точно так же при вступлении в пределы семинарии Клонлифф неожиданное воспоминание пробудило неожиданную симпатию, симпатию-воспоминание об [изолированной] опекаемой жизни семинариста, все добродетели которой казались вызывающе выставлены напоказ мирскому беспутству, настолько вызывающе, что лишь крепкие стены и сторожевые собаки могли удержать их в тесном мирке робких и модничающих манер. Хотя выраженьям их чувств недоставало изящества, а вульгарность их нуждалась лишь в силе легких, чтобы стать еще более кричащей, однако дождь настраивал его на милосердие. Гомон студентов доходил до него словно издали, отдельными волнами, и, поднимая взгляд, он видел, как уплывают прочь высокие дождевые облака над дождеомытой страной. Быстрый и легкий ливень прошел, замешкавшись алмазною гроздью среди кустов на прямоугольнике двора, где подымался пар от почерневшей земли. Стайка в колоннаде портика покидала убежище, поглядывая наружу с сомнением, шелестя тонкими башмачками, мило оберегая юбки и направляя под искусно выбранными углами легкое вооружение зонтиков. Он видел их возвращение в монастырь – строгие коридоры, простые дортуары, тихие четки часов, – меж тем как облака дождя уплывали на запад и правильными волнами до него доходил гомон юношей. Он видел далеко-далеко посреди дождеомытой равнины высокое простое здание с окнами, едва пропускающими сумрачный свет дня. Триста шумливых и голодных мальчишек сидели за длинными столами, поедая говядину с каемкой зеленого жира, похожего на ворвань, и ломти сырого серого хлеба, и один малыш, опершись на локти, то затыкал, то оттыкал свои уши, и шум едоков доходил до него ритмичными волнами как дикий звериный рев.

– Должно существовать искусство жеста, – однажды вечером сказал Стивен Крэнли.

– Ну да?

– Разумеется, я имею в виду искусство жеста вовсе не в том смысле, как его понимает профессор риторики. Для него жест – усиление речи. Я же имею в виду ритм. Ты знаешь песню: «О, эта грусть желтых песков»?

– Нет.

– Вот она, – произнес юноша, делая каждою рукою грациозный анапестический жест. – Это ритм, ты видишь?

– Да.

– Я бы хотел в один прекрасный день выйти на Грэфтон-стрит и проделывать жесты посреди улицы.

– Я бы с удовольствием поглядел.

– Нет никаких причин, отчего жизнь должна утратить всю свою грацию и благородство, пусть даже Колумб и открыл Америку. Я буду жить жизнью свободной и благородной.

– Ну да?

– Искусство мое будет исходить из свободных и благородных истоков. Усваивать нравы этих рабов слишком невыносимо для меня. Я отказываюсь, чтобы меня насильственно оглупляли. Ты веришь в то, что одна строчка стихов может дать бессмертие человеку?

– А почему не одно слово?

– «Sitio» – вот классический возглас⁵³. Попробуй [и] это улучшить.

⁵³ «Жажду» (лат.). Ин. 19: 28 – слова Иисуса на кресте.

– Ты думаешь, что Иисус, висая на кресте, смаковал то, что ты называешь ритмом этого возгласа? Ты думаешь, что Шекспир, когда писал песню, выходил на улицу и проделывал жесты перед народом?

– Ясно, что Иисус не мог сопроводить свой возглас подобающе великолепным жестом, но мне не представляется, чтобы он произнес его бесцветным тоном. У Иисуса был подлинный чисто трагический стиль; его поведение во время суда достойно восхищения. Неужели ты думаешь, Церковь могла бы воздвигнуть вокруг его легенды такие изощренно художественные таинства, если бы в самой исходной фигуре не было некоего трагического величия?

– А Шекспир?..

– Не думаю, чтобы он хотел выйти на улицы, но уверен, что он сознавал и ценил собственную музыку. Я не верю, что красота – дело случая. Человек может думать семь лет, через какие-то промежутки, и потом вдруг написать единым духом строфу, которая обессмертит его – на первый взгляд, без размышления и труда, но только на первый взгляд. Потом зевака в партере будет говорить «Да, этот умел сочинять поэзию», а если я спрошу «И как это происходило?», зевака ответит «Да просто писал, и все тут».

– Я считаю, насчет ритма и жеста это все твоя выдумка. Тебя послушать, поэт это какая-то до жути запутанная личность.

– Ты так говоришь, потому что никогда раньше не видал поэта в работе.

– Откуда ты знаешь?

– Тебе кажется, мои теории – это высокопарные фантазии, правда?

– Чистая правда.

– Отлично, а я тебе скажу, что ты считаешь меня фантазером попросту потому, что я современен.

– Милый мой, это чистый вздор. Ты только и толкуешь о «современном». А ты представляешь, сколько времени земля стоит? Ты говоришь, ты очень эмансипированный, а на мой взгляд, ты пока что не пошел дальше первой книги Бытия. Нет таких вещей, как «современное» или «древнее», – это одно и то же.

– Что одно и то же?

– Древнее и современное.

– Ну да, знаю: любое ничем не отличается от любого другого. Конечно, я знаю, что слово «современный» всего лишь слово. Но когда я его применяю, я в него вкладываю определенный смысл...

– К примеру, какой?

– Дух современности – вивисекторский дух. Вивисекция – самый современный процесс, какой можно себе представить. Дух древности весьма неохотно мирился с реальными явлениями. Древний метод рассматривал закон с фонарем справедливости, мораль – с фонарем откровения, искусство – с фонарем традиции. Но все эти фонари обладают волшебным свойством: их свет изменяет и искажает. Современный метод исследует свою территорию при свете дня. Италия дала цивилизации науку, отставив фонарь справедливости и начав рассматривать [действия] преступника в его становлении и действии. Любой современный критический подход в политике и религии отправляет в отставку все презумпции касательно всех Государств, Искупителей и Церквей. [и] Он рассматривает все сообщество в целом и в действии и воссоздает весь спектакль искупления. Если б ты был философ-эстетик, ты бы взял на заметку все эти мои бредни, потому что в них перед тобой вся картина эстетического чувства в действии. Факультету философии следовало бы приставить ко мне сыщика.

– Тебе известно, я думаю, что Аристотель основал биологическую науку.

– За все блага мира я не скажу ничего против Аристотеля, но только при разборе «неточных» наук его дух, мне кажется, себя проявляет не в самых своих лучших свойствах.

– Мне интересно, как бы Аристотель расценил тебя как поэта?

– Черта с два я бы стал перед ним оправдываться. Пускай он меня изучает, если у него выйдет. Ты можешь себе представить прекрасную женщину, которая рассыпалась бы: «Ах, мистер Аристотель, ах, простите меня, что я так прекрасна»?

– Он был великий мудрец.

– Да, но я не думаю, что он был бы особым покровителем тех, кто пропагандирует полезность ходьбы на месте.

– Что ты хочешь сказать?

– Ты не замечал, как абстрактные термины звучат фальшиво и нереально, когда их проносят эти замшелые в нашем колледже? Ты видел, какие они подняли разговоры вокруг своего нового журнала. Макканн, они веруют, выведет их из пленения египетского. Этот журнальчик их, он тебя не заставляет твердить про себя «О боже, какое счастье, что у меня с этим ничего общего»? Вот та кукольная жизнь, какую отцы иезуиты позволяют этим послушным юношам, ее я и называю ходьбой на месте. Марионеточная жизнь, какую ведет сам иезуит, как раздагчик праведности и света истины, – вот тебе еще вариант ходьбы на месте. И при этом оба вида марионеток думают, будто Аристотель их оправдывает перед всем миром. Будь добр, припомни чудовищную легенду, что управляет всем их существованием, – до чего аристотелианская, а? Будь добр, припомни все мельчайшие правила, где вычислено точное количество спасения в каждом благом деянии – какое аристотелевское изобретение!

Однажды вечером, когда оставалось с неделю до Рождества, Стивен стоял в колоннаде Библиотеки. Из здания вышла Эмма и остановилась побеседовать с ним. Она была в уютном, теплом твидовом одеянии, и ровные витки длинного белого боа открывали улыбающееся личико морозному воздуху. При виде такой счастливой сияющей фигурки среди безрадостного пейзажа любой нормального устройства юноша ощутил бы неудержимое желание сжать ее в объятиях. Небольшая шляпка темного меха делала ее похожей на куклу с рождественской елки, а неисправимые глаза говорили, казалось: «А вам не хотелось бы меня приласкать?» Она тут же принялась щебетать. Она знала ту, которая написала «Девушку-товарища», это девушка с большими способностями к таким вещам. А у них в монастыре был тоже журнал, и она туда пробовала писать «скетчи».

– Между прочим, я про вас слышу жуткие вещи.

– Как так?

– Все говорят, у вас жуткие идеи, вы читаете жуткие книги. Говорят, вы мистик или в этом духе. Знаете, что одна девушка мне сказала?

– Нет, а что?

– Что вы не верите в Бога.

Они шли по Грину за цепным ограждением, и когда она это сказала, она чуть сильнее послала к нему тепло своего тела, и ее глаза глянули на него с выражением заботливого участия. Ответный взгляд Стивена был тверд.

– Не будем о Боге, Эмма, – произнес он. – Вы меня занимаете гораздо больше, чем этот старый джентльмен.

– Какой джентльмен? – спросила она наивно.

– Пожилой джентльмен, владеющий птичником, – Игова Второй.

– Не надо при мне говорить такие вещи, я ведь уже просила вас.

– Хорошо-хорошо, Эмма. Я вижу, вы боитесь потерять веру. Но вам нечего страшиться моего влияния.

Они прошли от Грина до самой Южной Кольцевой, не пробуя возобновить разговор. С каждым шагом решимость Стивена расстаться с ней и никогда больше ее не видеть становилась прочней и глубже. Даже в качестве развлечения, ее общество действовало слегка разрушающе на его чувство собственного достоинства. Проходя под большими деревьями на Молл, она замедлила шаг и, когда они вышли из полосы света фонарей на мосту, остановилась сама, без

его побуждения. Стивена это очень удивило: час и место придавали их положению двусмысленность и, хотя она выбрала для остановки глубокую тень деревьев, дерзость эта совершалась уже вблизи от ее дома. С минуту они прислушивались к тихому журчанию воды, глядя, как к середине моста ползет на подъем трамвай.

– Я правда так сильно занимаю ваши мысли? – произнесла наконец она глубоким и значительным тоном.

– Да, без сомнения, – сказал Стивен, стараясь попасть в ее тон. – Я знаю, какая вы живая, человеческая.

– Но живых людей множество.

– Вы женщина, Эмма.

– Вы меня бы уже назвали женщиной? Вам не кажется, что я еще девочка?

В течение нескольких мгновений взгляд Стивена обходил рискованные территории, меж тем как ее полуприкрытый взор переносил это вторжение без упрека.

– Нет, Эмма, – проговорил он. – Вы больше уже не девочка.

– Но вы еще не мужчина, правда? – быстро откликнулась она; и было заметно даже в тени, как гордость, юность, желание начинают горячить ее щеки.

– Я желторотый, – отвечал Стивен.

Она чуть сильнее подалась к нему, и в ее глазах вновь появилось выражение заботливого участия. Тепло ее тела, казалось, перетекало в его тело – и без минуты колебаний он сунул руку в карман и принялся нащупывать там монеты.

– Мне надо идти, – сказала она.

– Доброй ночи, – сказал он с улыбкой.

Когда она вошла в дом, он направился берегом канала, по-прежнему в тени оголенных деревьев, тихо напевая себе под нос из службы Великой Пятницы. Он думал о том, что он сказал Крэнли, – когда люди любят, они отдают, – и произнес громко вслух: «Я больше никогда не буду говорить с ней». Когда он проходил у нижнего моста, из темноты появилась женщина и сказала: «Привет, миленький». Остановясь, Стивен посмотрел на нее. «Она была маленького роста, и даже в эту морозную пору от ее одежды несло застарелым потом. Над остекленным лицом была надвинутая на гулящий манер соломенная черная шляпка. Она предложила ему пройти с ней недалеко. Не отвечая ей и не прерывая страстной напев, Стивен переместил свои монеты в ее руку и продолжал путь.» Удаляясь и слыша ее благословения за своей спиной, он принялся размышлять о том, что совершенней с литературной точки зрения: рассказ о смерти Иисуса, данный Ренаном или же данный евангелистами. Однажды ему пришлось слышать, как проповедник, исполняясь благочестивого ужаса, намекал, что существует теория, пущенная каким-то литературным агентом сатаны и утверждающая, будто Иисус был маньяком. Женщина в черной шляпке не поверила бы никогда, что Иисус маньяк, и Стивен разделял ее мнение. Бесспорно, он великий образец для холостяков – сказал он себе – но все-таки для божественной личности он слишком уж печется насчет себя. Женщина в черной шляпке никогда не слыхивала о Будде, а характер Будды, пожалуй, превосходил характер Иисуса в том, что касается бесстрастной святости. Интересно, как бы понравилась ей эта история, как Яшодхара целовала Будду уже после его просветления и покаяния. Иисус Ренана малость буддийский, но западные люди, ярые обжоры и выпивохи, нипочем бы не стали поклоняться такому. Кровь требует крови. Есть люди на этом острове, у которых религиозное чувство находит выход в пении гимна «Омыты в крови Агнца». Возможно, это вопрос [порыва] диеты, но я бы все-таки предпочел омовение в рисовой воде. Уфф! Как подумаешь! Кровавая баня, чтобы очистить тело духовное от всех грешных потовыделений... Чувство декорума заставляет ту женщину носить соломенную шляпку в разгар зимы. Она мне сказала: «Привет, миленький». Самое любящее существо всех времен не сможет сказать ничего большего. Вы только подумайте – «Привет, миленький». Сатана должен разгневаться, когда ее будут называть исчадием сатаны.

– Я не собираюсь больше встречаться с ней, – сообщил Стивен Линчу несколько вечеров спустя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.